https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0875-2-135-183
https://elibrary.ru/BZRABN
УДК 82.0+1(091)
Научная статья и публикация архивных документов / Research Article and Publication of Archival Documents

This is an open access article Distributed under the Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 (CC BY-ND)

ПРОБЛЕМА АНТИНОМИЙ В ТРАКТОВКЕ ЛЮДМИЛЫ ГОГОТИШВИЛИ (М. БАХТИН И ВЯЧ. ИВАНОВ)

© 2026 г. С.В. Федотова

Исследование выполнено в ИМЛИ им. А.М. Горького РАН за счет гранта Российского научного фонда № 24-18-00248, URL: https://rscf.ru/project/24-18-00248/

Аннотация: Статья исследует проблему антиномий у М.М. Бахтина и Вяч. Иванова в трактовке Л.А. Гоготишвили. На основе опубликованных и архивных материалов реконструируется траектория мысли исследователя от лингвофилософии Бахтина к предикативной концепции символа и мифа Иванова и обратно — к бахтинскому двуголосию и полифонии. Показано, что для Гоготишвили антиномия — не тупик мысли, а конструктивный принцип непрямого выражения смыслов и продуктивный метод описания языка. Впервые публикуется фрагмент незавершенной статьи Гоготишвили «Антиномия и антитония», а также архивная стихотворная пародия, отразившая барьер восприятия ее сложного метаязыка в академической среде.

Ключевые слова: Л.А. Гоготишвили, М.М. Бахтин, Вяч. Иванов, проблема антиномий, предикативная концепция символа и мифа, двуголосое слово, непрямое выражение смысла, первая публикация, филологическая пародия

Информация об авторе: Светлана Владимировна Федотова — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник, Институт мировой литературы им. А.М. Горького Российской академии наук, ул. Поварская, д. 25А, стр. 1, 121069 г. Москва, Россия.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9991-4966

E-mail: lucia-th@yandex.ru

Для цитирования: *Федотова С.В.* Проблема антиномий в трактовке Людмилы Гоготишвили (М. Бахтин и Вяч. Иванов) // Антиномичность поэтики русского модернизма и современная гуманитарная мысль: коллективная

монография / отв. ред. и сост. С.В. Федотова. М.: ИМЛИ РАН, 2026. С. 135–183. 1 электрон. опт. диск (CD-R). Текст: электронный.
https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0875-2-135-183

THE ISSUE OF ANTINOMIES IN LYUDMILA GOGOTISHVILI'S INTERPRETATION (M. BAKHTIN AND VYACH. IVANOV)

© 2026. Svetlana V. Fedotova

Acknowledgements: The research was carried out at the A.M. Gorky Institute of World Literature, Russian Academy of Sciences, with the support of a grant from the Russian Science Foundation (RSF, project no. 24-18-00248, Available at: https://rscf.ru/project/24-18-00248/).

Abstract: The article examines the issue of antinomies in the works of M.M. Bakhtin and Vyach. Ivanov in Gogotishvili's interpretation. Based on published and archival materials, it reconstructs the trajectory of her thought from Bakhtinian philosophy of language to Ivanov's predicative conception of symbol and myth, and back to Bakhtinian double-voicedness and polyphony. It demonstrates that for Gogotishvili, an antinomy is not a dead end, but a constructive principle of indirect meaning-making and a productive method of describing language. The article includes a fragment of an unfinished and unpublished article "Antinomia and Antitonia", along with an archival poetic parody that reflects the limits of the reception of her complex metalanguage in the academic community.

Keywords: L.A. Gogotishvili, M.M. Bakhtin, Vyacheslav Ivanov, problem of antinomies, predicative conception of symbol and myth, double-voiced discourse, indirect meaning, first publication, philological parody

Information about the author: Svetlana V. Fedotova, DSc in Philology, Leading Research Fellow, A.M. Gorky Institute of World Literature of the Russian Academy of Sciences, Povarskaya St., 25A, bld. 1, 121069 Moscow, Russia.
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-9991-4966
E-mail: lucia-th@yandex.ru

For citation: Fedotova, S.V. "The Issue of Antinomies in Lyudmila Gogotishvili's Interpretation (M. Bakhtin and Vyach. Ivanov)." *Antinomichnost' poetiki russkogo modernizma i sovremennaia gumanitarnaia mysl'* [*The Antinomic Nature of Russian Modernism Poetics and Modern Humanities Thought*], ex. ed. Svetlana V. Fedotova. Moscow, IWL RAS Publ., 2026, pp. 135–183. (In Russian) 1 Electronic Optical Disc. Text: Electronic.
https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0875-2-135-183

Предлагаемые размышления развивают и существенно дополняют тему «Вяч. Иванов и М. Бахтин в интерпретации Людмилы Гоготишвили», к которой я уже обращалась [2]. Как можно заметить, в нынешнем заглавии две ключевые фигуры поменялись местами, и это не случайно. Такая перестановка точнее отражает своеобразие научного пути исследовательницы: она начала с Бахтина и занималась его наследием до конца жизни. Иванов же находился в фокусе ее внимания сравнительно недолго — с конца 1990-х до начала 2000-х гг.

Дело, конечно, не только в хронологии, хотя и она показательна. Гораздо важнее, что найденный в личном архиве Гоготишвили черновой вариант статьи (публикуемый ниже) побуждает рассматривать тему не через привычную призму влияния Иванова на Бахтина, а в контексте логики развития мысли самой Гоготишвили. К вопросу о влиянии идей поэта и теоретика символизма на Бахтина она подходила, во-первых, с точки зрения философии языка, а во-вторых, — в свете «нравственной философии» раннего Бахтина. Это означает, что траекторию ее исследований можно описать формулой — *от Бахтина к Вяч. Иванову и обратно*[1]. Особенно явственно это проявляется в связи с проблемой антиномий, стоящей в центре нашего внимания. Упомянутый архивный материал подтверждает данный тезис. Обратимся к нему чуть позже, сначала же рассмотрим в общих чертах, как развивалась антиномическая проблематика в работах Гоготишвили условно «до-ивановского» периода.

От Бахтина — к Вяч. Иванову

Многообещающим стартом научного пути Людмилы Гоготишвили стала ее кандидатская диссертация по языкознанию «Опыт построения теории употребления языка (на основе общефилологической концепции М.М. Бахтина)» (МГУ, 1984)[2]. Основной целью работы было

[1] Обсуждаемый вопрос на деле значительно сложнее, поскольку он разворачивается в рамках не диады, а триады, если учитывать роль А.Ф. Лосева, чьи идеи вошли в круг интересов Гоготишвили позже бахтинских, но раньше ивановских. В этом отношении показательна последовательность выхода в свет трех дискуссионных сборников, инициированных и фактически подготовленных Гоготишвили единолично: «М.М. Бахтин как философ» (1992), «Абсолютный миф Алексея Лосева» (1994) и «Вячеслав Иванов. Архивные материалы и исследования» (1999); подробнее см.: [2, с. 417]. Однако от линии Иванов — Лосев я здесь вынужденно отвлекаюсь [3; 1].

[2] Две статьи были депонированы в ИНИОН («О соотношении единиц языка и речи»

«теоретическое и терминологическое *противопоставление языковой системы и речевой деятельности*» (выделено автором. — *С.Ф.*). Это противопоставление «лежало в основании гумбольдтовской антиномии “ἔργον” и “ἐνέργεια”», задействованной в системе Соссюра, в советском языкознании разрабатывалось Л.В. Щербой; оно же, подчеркивает диссертантка, «лежит в основе филологической концепции М.М. Бахтина, идеи которого были использованы при формировании теории употребления». При этом автор отмечает: Бахтин не был лингвистом, и его понятия «не могут быть непосредственно введены в лингвистику — для этого им необходимо придать лингвистическую интерпретацию» [12, с. 4–5].

Лингвистическая интерпретация понятий Бахтина определяет не только «первую, терминологическую, задачу» диссертации, но и одно из магистральных направлений дальнейших изысканий Гоготишвили. Такая постановка проблемы, изначально сформулированная в рамках антиномии «эргон — энергия», постулирующей двойственную природу языка (статическую — язык как продукт/система и динамическую — язык как деятельность/говорение), в целом очерчивает спектр теоретических интересов автора. Однако на тот момент обозначенная антиномия носила скорее абстрагированный, чисто лингвистический характер. Во всей работе термин использовался лишь однажды. Вместе с тем уже в попытке «перевода» бахтинских смыслов на язык лингвистики просматривается поиск синтеза, направленного на снятие противоречий между языкознанием и металингвистикой. В этом смысле Гоготишвили шла вслед за Бахтиным, пытавшимся «изнутри привить отечественной лингвистике диалогическую “ветвь”», как сформулирует она позднее [5, т. 5, с. 597].

В 1992 г. одна за другой выходят в свет две статьи Гоготишвили — «Бахтинская философия языка и проблема ценностного релятивизма» [6] и «Варианты и инварианты М.М. Бахтина» [7]. Они тесно связаны между собой, представляя своего рода «двойчатку». Главной задачей этих ранних работ, мало похожих на робкие опыты новичка, стало выявление общеконцептуальной основы позиции Бахтина. Эта проблема представлялась Гоготишвили наиболее насущной на фоне острых дискуссий вокруг наследия Бахтина. В первой из них реконструируется лингвистическая база бахтинской философии языка, послужившая в итоге веским аргументом в пользу целостности его общефилософских взглядов. Во второй, наоборот, в центре внимания

и «О категориях стилистики»), а еще две — опубликованы в научных сборниках [14; 15], однако не получили в свое время широкого резонанса.

находятся основания «нравственной философии» раннего Бахтина, что в финале приводит к выводам о концептуальном единстве его философии языка. Контрастным фоном для дальнейшего изложения в обоих случаях выступает констатация максимально противоположных оценок Бахтина, сложившихся в современной гуманитарной мысли: «от страстного персоналиста — до адепта вульгарного социологизма, от христианского мыслителя — до неоязычника, от неокантианца — до классика русской мысли, от традиционалиста — до ультрамодерниста, от абсолютного релятивиста — до "нашего общего учителя"» [7, с. 115]. Таким образом, оспариваемый исходный тезис базируется на представлении о логической противоречивости Бахтина, трактуемой как признак его «слабости» и «несостоятельности». В противовес подобному подходу Гоготишвили демонстрирует инвариантность концептуальной основы бахтинского наследия, которая могла варьироваться в деталях и терминах, но по существу оставалась неизменной. Формальные и содержательные нестыковки возникают лишь тогда, когда различные стороны концепции Бахтина абстрагируются от целого и абсолютизируются в своей отдельности. «Если же рассматривать все эти стороны в их естественном бахтинском контексте, в их конкретно-научной, в частности лингвистической, значимости, то вся их кажущаяся противоречивость перестает быть таковой» [6, с. 171].

Такой подход можно назвать скорее холистическим, чем антиномическим. Если «дразнящая "обнаженность" бахтинских антиномий» [7, с. 116] понимается как результат ложной трактовки отдельных моментов целого, то при верном прочтении они упраздняются, а не сополагаются в единстве. Показательно, что понятие антиномии (и его производные) в первой статье отсутствует, а во второй используется — помимо вышеприведенной цитаты — еще раз для характеристики разнобоя чужих мнений[3]. По-видимому, интерпретируя бахтинские концепции диалога, монологизма, полифонии и непрямого говорения, с которыми чаще всего связываются обвинения философа в релятивизме, отрицании трансцендентных ценностей культуры и *прямого* (истинного) слова о мире, Гоготишвили видела в них не неразрешимые противоречия, а намеренно акцентированные автором парадоксы, имеющие скрытое логическое решение.

[3] Ср. библиографическую ссылку на отечественные труды, содержащие противоречивые оценки Бахтина, которая заканчивается констатацией: «Не менее антиномичны и оценки Бахтина на Западе» [7, с. 115].

Предпринятая реконструкция концептуального каркаса наследия Бахтина и представляет собой версию логически непротиворечивого объяснения внешних разноречий его текстов. Лингвистической основой бахтинской философии языка признаются «многоаспектные соотношения между местоименными или сводимыми к местоимениям категориями: “*я*”, “*ты*”, “*другой*” (“*он*”), “*оно*” и “*мы*”» [7, с. 144], определяющие диалогические механизмы любого речевого акта и порождения смысла. В этом направлении Гоготишвили развивает свои диссертационные идеи и оперирует такими терминами, как *частные источники смысла*, подразделяемые на четыре разновидности (*речевые центры, точки зрения, фокус внимания и диапазон причастности*). Позднее они в модифицированном виде войдут в теоретический трактат «К феноменологии непрямого говорения» (2006) [11, с. 416–696]. Здесь же с их помощью доказывается — заметим, вполне антиномично и даже диалектично — что «тезис о релятивности языкового сознания Бахтина обосновывает устойчивость и принципиальную передаваемость трансцендентного культурного смысла вопреки релятивности речевых форм»:

> «Релятивность языковой формы речи, по Бахтину, есть необходимый атрибут культурного, интенционально полнокровного смысла. Смысл, по Бахтину, имеет абсолютную природу; языковое же сознание и соответственно языковая форма относительны. <…> Речь — форма становления истины для себя в истину для другого и наоборот, что требует сотворчества “я” и различных форм “другого” (смен в речи частных источников смысла)» [6, с. 172].

Аналогичным образом Гоготишвили реконструирует концептуальный инвариант в философских взглядах Бахтина, открыто эксплицированный в ранних работах. Она определяет его как «поиск критериев для обособления “*нравственной реальности*”, т. е. того вида бытия, который, по Бахтину, единственно есть, но с другой стороны — еще не был реально “дан” в истории культуры, а был лишь задан в качестве одновременно истока и цели». Это все тот же диалогический принцип, но взятый в религиозной перспективе. Гоготишвили определяет его специфику как идею «*персоналистического дуализма*», утверждающую наличие онтологической «бездны» между «я» и Абсолютно Другим, с одной стороны, и «я» и «другим» в земных координатах — с другой [7, с. 116–117]. Вместе с тем она подчеркивает, что радикальное противопоставление «я» и «другого» не означает у Бахтина чистого дуализма, поскольку предполагает их равноправное

участие в *событии бытия* (восходящее к исходной модели взаимоотношений «я» и Абсолютного Другого):

> «…“бездна” между “я” и “другим” не отрицает, но, напротив, повышает в бахтинской философии их взаимную нужду друг в друге. “Я” и “другой” взаимно конституируют друг друга, один является условием другого, без этой пары не будет смыслового пространства и для самой идеи персональности <…> Изолированные “я” и “другой” так же недостаточны, как и формы их некритического смешения, более того — сами формы смешения и есть исторические проявления тенденций к изоляции либо “я”, либо “другого”. Искомое Бахтиным нравственное бытие предполагает “чистоту” самоотношения и отношения к “другому” одновременно» [7, с. 117–118].

Реконструкция философских взглядов Бахтина производится сквозь призму этого нравственно-персоналистического императива, открыто заявленного в ранних работах и затем ушедшего в «подпочву» всех базовых бахтинских категорий (монологизма, диалогизма, полифонии, двуголосого слова, непрямого говорения, амбивалентности, карнавала и смеха). В результате создается действительно целостная и логически непротиворечивая картина становления Бахтина как философа и теоретика, идеи которого выражались опосредованно — преимущественно на материале частных гуманитарных наук, прежде всего в области эстетики словесного творчества.

Признавая отчасти справедливым факт противоречивости многих положений Бахтина, Гоготишвили проницательно объясняет его тем, что Бахтин «искал *новые* формы научного авторства»; он мог «играть речевыми масками», как бы ставя эксперименты над своими текстами, иллюстрируя и апробируя свою теоретическую мысль на практическом языковом пространстве *тех* самых текстов, в которых эта мысль и высказывается», не теряя при этом «чувства “высшего нададресата”, установки на абсолютную услышанность в большом времени культуры». Вывод о том, что тексты Бахтина — «это *самоиллюстрированная философия языка* с установкой на непрямое говорение», указывает на то, что в лице Гоготишвили Бахтин обрел конгениального читателя. Того читателя, который, по ее авторефренциальному признанию, приходит к пониманию смысла, «когда отрешается от пассивной в языковом отношении роли стороннего, хотя и заинтересованного, но все же наблюдателя и встает на позицию самого автора, совместно со слушающим перебирающего языки и оценивающего их смысловые границы и выразительные возможности» [6, с. 144].

Как позицию сближения кругозора автора и читателя можно истолковать диалогический стиль Гоготишвили, с характерным для нее обращением с «чужим словом». Неслучайно статья «Варианты и инварианты М.М. Бахтина» предваряется замечанием о «техническом самоограничении», суть которого — в практически полном отсутствии цитат и ссылочного аппарата. Вместо привычной для многих научных работ прямой передачи чужой речи, Гоготишвили избрала другой путь: «максимально насытить текст специфически бахтинским “языком”, во многом способствовавшим автономной, хотя и прозрачной, замкнутости его общеконцептуальной позиции» [7, с. 116].

По всей видимости, в силу такой установки в ранних работах Гоготишвили редко встречается понятие антиномии. Она не могла не знать, что Бахтин относил антиномику и диалектику к *монологическому* типу сознания[4]. Из специфических категорий Бахтина антиномичности больше всего соответствует *амбивалентность*. Поэтому Гоготишвили, с опорой на бахтинский концепт, утверждает, что «тексты и сама мысль Бахтина *амбивалентны*» и их понимание предполагает «своего рода биполяризацию внимания, его одновременную направленность на противоположные пределы каждого анализируемого Бахтиным явления или тенденции, на их “верх” и “низ”, начало и конец, на их начинающий и умерщвляющий импульсы» [7, с. 123]. По существу, в приведенных словах дается описание метода адекватного постижения противоречивого единства бахтинского наследия, и оно вплотную приближается к проблеме антиномий.

Две статьи 1992 г. предопределили диапазон дальнейших исследований Гоготишвили в области бахтинистики. Стоит особо отметить, что из Собрания сочинений Бахтина первыми вышли в свет именно те тома, в подготовке которых она принимала непосредственное участие: в 1997 г. — пятый том (ред. С.Г. Бочаров, Л.А. Гоготишвили), в 2002 г. — шестой (те же соредакторы), в 2003 г. — первый том (ред. С.Г. Бочаров, Н.И. Николаев), содержащий преамбулу и комментарии

---

[4] См. в «Проблемах творчества Достоевского» характеристику философской монологизации как специфического свойства критической литературы о Достоевском: «Пытаясь втиснуть показанную художником множественность сознаний в системно-монологические рамки единого мировоззрения, эти исследователи принуждены были прибегать или к антиномике, или к диалектике. Из конкретных и цельных сознаний героев (и самого автора) вылущивались идеологические тезисы, которые или располагались в динамический диалектический ряд или противопоставлялись друг другу как не снимаемые абсолютные антиномии. Вместо взаимодействия нескольких неслиянных сознаний подставлялось взаимоотношение идей, мыслей, положений, довлеющих одному сознанию» [5, т. 2, с. 15].

Гоготишвили к трактату «К философии поступка». В результате следует признать, что Людмила Гоготишвили как реконструктор и комментатор ранней философии Бахтина и одновременно истолкователь его поздних записей 1940–1970-х гг. занимает в мировой бахтинистике исключительное место. В полном соответствии с *биполярным принципом* видения ее научный подход охватывал «начала и концы» бахтинского наследия в его целокупно-противоречивом единстве.

Переходя ко второму «герою» нашего сюжета, уместно отметить, что упомянутая идея *биполярного* («двойного») взгляда станет для Гоготишвили основополагающей и при обосновании антиномического принципа Вячеслава Иванова. Но поразительным образом в ранних статьях о Бахтине имя поэта-символиста не встречается, даже когда всплывает его известная формула «Ты еси» [6, с. 158]. Не фигурирует он и среди возможных предшественников Бахтина, а также того круга философских направлений и имен, сопоставление с которыми напрашивается (неокантианство, феноменология, экзистенциализм, философия жизни, Дильтей, Бубер, Хайдеггер, Сартр, Гадамер и «некоторые тенденции русской философии, особенно — ее персоналистическая линия») [7, с. 116]. В последнем случае вряд ли имелся в виду Иванов: в дальнейшем персонализм станет главным критерием различия между ивановским символизмом и бахтинским диалогизмом.

Не упоминается Иванов и в энциклопедической статье о Бахтине (1995), которая обобщает основные положения работ 1992 г. и расставляет новые акценты. В частности, Гоготишвили уверенно вписывает Бахтина в платоническую традицию и «русскую, православно ориентированную философию» на том основании, что «все творческие достижения Бахтина были направлены на достижение основной цели русского платонизма: корректного, не выходящего за рамки православия снятия напряжения между монизмом и дуализмом» — т. е. языческого пантеизма, с одной стороны, и абсолютного агностицизма и релятивизма — с другой [18, с. 44]. Эта антиномия и ее разрешение, следовательно, подразумевались в сформулированном Гоготишвили принципе «персоналистического дуализма» «нравственной философии» Бахтина, концепциях диалогизма, монологизма (как нарушения этого принципа), полифонии (как его восстановления) и т. д. Но если раньше она избегала понятия антиномии, то сейчас, аттестуя концепцию полифонического романа как бахтинский вариант разрешения общего кризиса культуры начала XX в. (в терминах «автора» и «героя»), коррелирующий с его общей религиозно-философской позицией, она добавляет:

«Аналогичный метод разрешения антиномий Б. разработал и для других введенных им частных категориальных пар (форма и материал, душа и тело, хвала и брань, верх и низ, мгновение и вечность, пространство и время, эпос и роман и др.), с помощью которых как бы множит образы своей религ.-философской концепции, придавая ей тем самым не только научно детализированную форму, но и возможность регенерироваться как именно рел.-филос. концепция в случае возникновения благоприятного для этого культурного контекста» [18, с. 47].

Акцент на близости философии языка Бахтина к русской религиозной философии вполне объясним. Завершив статьи о Бахтине, а возможно, и параллельно с ними Гоготишвили углубляется в наследие А.Ф. Лосева. В 1993 г. выходят в свет сразу три ее работы, посвященные религиозно-философскому статусу языка, коммуникативной версии исихазма и диалектике мифа; она вникает в тонкости соотношения платонизма и православного энергетизма, монизма, дуализма, пантеизма у софиологов, последователей Вл. Соловьева. Скорее всего, именно тогда возникает парадоксальный замысел кардинально сблизить Лосева и Бахтина в символистской парадигме языка, не теряя из виду их принципиальных различий, — замысел грандиозный и показательно антиномичный[5]. Однако для полноты картины не хватало Вяч. Иванова, которого в равной степени высоко ценили и Лосев, и Бахтин. Творчество поэта и теоретика символизма, судя по всему, мыслилось Гоготишвили тем «оселком», который позволил бы сначала выявить его влияние на каждого мыслителя в отдельности, а затем сопоставить их как две ветви постсимволизма.

Антиномизм Вячеслава Иванова

В статье «Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия)» (1999) Людмила Гоготишвили обнаружила ту лингвистическую новацию, которая, по ее остроумной гипотезе, легла в основу философии языка Бахтина. Это ивановская формула мифа, с небольшими вариациями воспроизводимая поэтом неоднократно начиная с 1910 г.: «Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежащему символу придан глагольный предикат» [16, т. 4, с. 437].

[5] См. подробнее: [11, с. 278–280; 2, с. 414–419]. Отметим, что в том же энциклопедическом словаре напечатаны статьи Гоготишвили о Лосеве, и его понятиях «абсолютная мифология» и «двойной символ» [18, с. 321–327, 7–8, 155–158].

Не буду задерживаться на изложении всех многовекторных ходов и многослойных смыслов этой замечательной работы — не только потому, что уже делала это ранее[6], но и оттого, что ее стержневые тезисы Гоготишвили сама воспроизводит в своих рабочих материалах, в том числе в незаконченной статье, публикуемой ниже. Акцентируем внимание на тех аспектах, которые имеют непосредственное отношение к проблеме антиномий у Вяч. Иванова и Бахтина.

Гоготишвили раскрывает своеобразие символизма Вячеслава Иванова через призму лингвистики, но приходит к кардинальным металингвистическим выводам. Она утверждает, что основу ивановского мифа составляет «антиномическое скрещение» субъекта и предиката мифологического суждения. В логике и языкознании субъект (предмет) и предикат (его свойство) четко разделены, однако Иванов сознательно размывал эти границы. В его поэтических конструкциях субъект и предикат меняются местами, перетекают друг в друга и объединяют взаимоисключающие понятия в неразрывных субъект-предикативных конструкциях («мифоидах»). Эти антиномические фигуры речи указывают на скрытый символический предмет (референт), но не называют его прямо, не объективируют его и не создают его образа. Подразумеваемый референт ивановского символизма — не конкретная вещь (денотат), а *событие* переживания «касания двух миров», определяемое как *безобъектное состояние сознания*, отчасти аналогичное мистическому экстазу. Именно это событие в сознании и становится истинным референтом, т. е. глубинным смыслом символического высказывания. По своему онтологическому статусу этот смысл имеет трансцендентно-имманентную природу, а по своему языковому выражению носит лингвистически-парадоксальный характер.

Согласно Гоготишвили, антиномизм Иванова стал открытым вызовом формальной логике и представлял собой попытку разрешения кризисных явлений бытия, сознания и языка, обострившихся на рубеже веков. Благодаря механизму антиномического скрещения Вячеслав Иванов решал фундаментальную задачу символизма: преодолеть ограничения человеческого языка и мышления, дабы найти выражение для запредельного мистического опыта. Обобщая истолкование ивановской формулы мифа, Гоготишвили подчеркивает, что ее лингвистический смысл заключается в том, что в специфическом предикативном акте Иванов синтетически скрещивает полярные семантические зоны, которые изначально заложены в самом языке.

[6] Подробный анализ этой статьи см.: [4; 2, с. 437].

Такой подход позволяет исследовательнице гипотетически сформулировать ответ Иванова на знаменитый кантовский вопрос о том, как возможны синтетические суждения:

> «Не язык, таким образом, укоренен в онтологии (в трансцендентной сущности), как обычно трактуется ивановская позиция, а миф и символические фигуры в определенном смысле укоренены в языке. Через эти символические фигуры и сам язык может прорываться в сферы высшего “реальнейшего” мира, что и составляет пафос ивановского символизма» [11, с. 80].

Из этой оригинальной интерпретации мифологического символизма Вячеслава Иванова следует, что Гоготишвили вычленяла конкретные языковые и философские антиномии, которые поэт-мыслитель стремился по-своему преодолеть с помощью антиномичной структуры мифологического суждения, отказавшись от их логического снятия. Он разрешал эти противоречия прагматически, переводя язык в новое качество — инструмент непрямого (символического) говорения о мистическом опыте.

На основании статьи Гоготишвили, можно заключить, что в своей поэтической практике Иванов был нацелен на преодоление целого комплекса кризисных явлений в системе базовых лингвофилософских оппозиций. На стыке языка и логики он «взрывал» антиномию имени и предиката, расшатывая статичность языковой системы (прежде всего в области номинации). Если исходят из того, что субъект привязан к конкретным объектам (именам), то в ивановском мифе субъект и предикат меняются местами. Язык перестает пассивно описывать вещи и превращается в динамический субстрат, сдерживаемый, тем не менее, «внутренней» языковой формой. При этом поэт успешно снимал антиномию знака и образа. Столкновение противоположностей вроде «безмолвьем говорит» или «И корни — сон ветвей, и ветви — сон корней…» полностью уничтожает конкретную визуальную картинку, приземляющую высший смысл. Возникает ситуация «безобразной объективации»: слово перестает именовать и изображать, начиная указывать на *невыразимое*. В итоге разрешается главная языковая антиномия — между конечностью слова и бесконечностью смысла; при этом коллапс классического синтаксиса за счет семантической полярности его базовых единиц освобождает речь от логических оков, превращая саму структуру стиха в проводник трансцендентной сферы бытия.

Тем самым Иванов преодолевал фундаментальные онтологические противоречия, в первую очередь — антиномию субъекта и объекта, разделяющую познающего человека и внешний мир. Взаимообратимость субъекта и предиката в мифологическом суждении зеркально отражает стирание границ между человеческим «Я» и бытием, возвращая личности утраченное единство через *безобъектное состояние сознания*. При помощи этого же механизма устранялся разрыв между имманентным и трансцендентным. Сталкивая взаимоисключающие понятия, Иванов создавал для разума интеллектуальный тупик. Неспособность разрешить его логически заставляла читателя совершить качественный скачок — как бы пережить запредельный дионисийский экстаз непосредственно в процессе восприятия символического текста. Наконец, такой подход позволял снять антиномию множественности и единства. Полярные начала бытия — жизнь и смерть, божественное и жертвенное — больше не исключали друг друга. Конструкции вроде «Бог — жертва», «Жертва — Бог», «Жизнь — Смерти гимны» удерживали противоположности в неразрывном, пульсирующем единстве, раскрывая их как две стороны единой высшей реальности. Таким образом, по Гоготишвили, антиномическое скрещение субъекта и предиката становится у Иванова не просто стилистическим приемом, а фундаментальным лингвофилософским инструментом, переводящим текст из плоскости описания в сферу духовного события.

Развивая эту мысль, исследовательница утверждала, что к формуле мифа как синтетического суждения (где символу-субъекту придан глагольный символ-предикат) в конечном счете сводятся все философско-эстетические, религиозно-мистические и литературоведческие теории Иванова, восходящие к его концепции дионисийства. В анализируемом тексте эти теории сопоставляются прежде всего с позицией имяславия (в лице С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского, а в перспективе — и А.Ф. Лосева). И хотя имя Бахтина в данном контексте почти не встречается, можно предположить, что Гоготишвили изначально подходила к творчеству Иванова сквозь призму бахтинских методологических установок. Об этом свидетельствует, в частности, определение двуголосого слова, сформулированное Гоготишвили раньше, в статье для уже упоминавшегося «Малого энциклопедического словаря»:

> «Двуголосое слово — скрещение в одном высказывании двух личностных голосов, к-рое осуществляется с помощью разных форм преломления смысловых интенций автора сквозь призму чужих слов, что создает особый семантический эффект “непрямого говорения”» [18, с. 158].

Структурно этот механизм аналогичен языковой специфике ивановского словесного мифа. Различие кроется в природе исходных компонентов: у Иванова скрещиваются два символа, тогда как у Бахтина — два личностных голоса. По-видимому, трактовка механизма мифа как «*одновременного двойного взгляда на одно*» [11, с. 57][7] давалась в статье с целью подготовить почву для дальнейшего сопоставления ивановского символизма и бахтинского диалогизма, с опорой на известное замечание Бахтина о том, что диалог оставался для Иванова лишь монологической темой, не переведенной в принцип языковой формы. Показательно, что именно это суждение приводится в финале работы, где автор резюмирует: «периферийные потенции» концепций Иванова и имяславцев были перенесены Бахтиным непосредственно в лингвистическую сферу [11, с. 100]. Однако сам прием «скрещения» противоположностей в одном синтаксическом целом был найден за несколько лет до этой статьи и, по-видимому, был маркером антиномичности.

От Вяч. Иванова — к Бахтину

Разработка темы «Иванов — Бахтин» носила в трудах Гоготишвили комплексный и междисциплинарный характер. Ее лингвофилософский подход сочетал анализ языковых и философских антиномий, причем исследование речевых механизмов всегда служило базисом для осмысления философско-эстетических воззрений. Эта методология определила структуру двух ранних статей о Бахтине. Аналогичная, хотя и более скрытая логика прослеживается в развитии нашего сюжета.

Особая трудность его рассмотрения определяется тем, что — в отличие от рассмотренной выше «двойчатки» — иваново-бахтинская тема оказалась рассредоточена по работам разных жанров: с одной стороны — проблемным статьям, с другой — теоретическим преамбулам и комментариям к сочинениям Бахтина. Помимо этого, в печатных вариантах этих текстов интересующая нас тема сопоставления идей Иванова и Бахтина представлена далеко не равномерно, а хронология выхода в свет не соответствует порядку их написания. Реальная последовательность подготовки статей к печати такова: «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией» (2004),

[7] См. выше о *биполярном взгляде,* необходимом для адекватного восприятия наследия Бахтина.

«Рецепция символизма в гуманитарных науках (лингвофилософский аспект)» (2004), «Антиномический принцип в поэзии Вяч. Иванова» (2004) и, наконец, теоретическая преамбула и комментарии к трактату Бахтина «<К философии поступка>» (2003). При этом во всех случаях, кроме последнего, влияние антиномизма Иванова на Бахтина кратко характеризуется с лингвистической точки зрения, и только в Собрании сочинений — с философской, причем в гораздо более развернутом формате.

Более адекватную картину можно получить, если иметь в виду черновые материалы, относящиеся к разработке темы, которые Гоготишвили называла «заготовками»[8]. Они не предназначались для печати, носили эвристически-лабораторный характер «для себя», хотя из них выросли многие идеи и формулировки, разошедшиеся по разным статьям. Однако имеются и более-менее законченные фрагменты, которые никогда не были обнародованы. А между тем именно благодаря им мы имеем возможность проследить, как развивалась мысль Гоготишвили при решении проблемы антиномий у Вяч. Иванова и Бахтина.

Из черновых материалов очевидно, что к разработке сюжета «Иванов — Бахтин» Гоготишвили приступила сразу после завершения статьи «Между именем и предикатом». К ним относятся тексты, сохранившиеся в файлах «ИвБах» (<Иванов и Бахтин>, 12.03.1999) и «Символизм» (12.11.1999). Проблема антиномий, разумеется, затрагивалась в этих материалах. Она даже выдвигалась как стратегическая задача сопоставления многозначности ивановского символа и бахтинского двуголосого слова: «Брать антиномии как предельный и выразительный случай»[9]. Однако, строго говоря, эта тема не являлась центральным предметом ее размышлений.

Аналогичную картину можно увидеть и в работе «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией», впервые опубликованной в 2004 г. [8], но написанной гораздо раньше (файл с первоначальным вариантом статьи датируется 30.01.2000). Базовые термины Бахтина (двуголосое слово, полифония, монологизм, диалогизм, амбивалентность) рассматриваются здесь в логико-лингвистической плоскости. Гоготишвили выдвигает гипотезу об аналогии между

---

[8] Выражаю благодарность И.Н. Фридману за разрешение изучать электронный архив Л.А. Гоготишвили и публиковать из него отдельные материалы. Специфика электронных источников не позволяет оформлять ссылки по привычному стандарту, в силу чего указываются только названия файлов и последняя дата их сохранения.

[9] См.: [2, с. 440].

двуголосым словом и предикативным актом, т. е. развивает предикативную интерпретацию мифологического суждения, апробированную в «ивановской» статье. В обоих случаях задействуются одни и те же инструменты анализа, что приводит к чрезвычайно близким выводам, постулирующим искомое единство символизма Иванова и философии языка Бахтина. Так, специфика двуголосого слова определяется как «предикативные синтаксические отношения между двумя голосами» одной конструкции, где «голос чужого мнения помещен в позицию субъекта, авторский — в позицию предиката». Выделяются разные типы двуголосого слова в зависимости от распределения голосов по позициям субъекта и предиката (тональные, тематические, гибридные) [11, с. 146–152]. Особыми авторскими стратегиями обращения с двуголосым словом объясняются также концепции карнавала и полифонии у Бахтина:

> «Общим символом этой совместной архетипической телеологии бахтинских концепций карнавала и полифонии можно считать категорию *амбивалентности* <…> Собственно говоря, бахтинская амбивалентность вполне может быть понята как форма сращения оппозиций в диаду, то есть как уже известная нам форма скрещения оппозиций (или антиномий), составляющих некое единое, но двусоставное образование без нейтрализации самих членов оппозиции (без потери ими качественной определенности)» [11, с. 211].

Статья завершается блестящим сравнением двуголосия, монологизма и полифонии Бахтина и понятий хаоса, восхождения и нисхождения из эссе Иванова «О Нисхождении», концовка которого была процитирована Бахтиным в лекции «Вячеслав Иванов»[10]. Гоготишвили резюмирует:

> «Согласно бахтинской теории, монологическая проза как система намеренных и художественно обработанных двуголосых гибридных конструкций рождается из темного органического двуголосия, как ивановская Афрогения из пенящегося хаоса — с тем чтобы через восхождение укротить хаотичную энтропию темного двуголосия; полифония же, в свою очередь, рождается из художественно организованного монологи-

[10] Ср.: «Из пенящегося хаоса возникает, как вырастающий к небу мировой цветок, богиня — “Афрогения”, “Анадиомена”. Пучиной рожденная, подъемлется — и уже объемлет небо — “Урания”, “Астерия”. И, “златотронная”, уже к земле склонила милостивый лик; “улыбчивая”, близится легкою стопою к смертным…» [5, т. 2, с. 320].

ческого двуголосия, как ивановская Урания, той же двуголосой пучиной рожденная, но уже объемлющая небо и в даре нисхождения к земле склонившая милостивый лик — дабы смирить гордыню монологического восхождения из темного двуголосия и тем полнее возродить искомую амбивалентность архетипа, связующего землю и небо, автора (героя) и хор» [11, с. 219].

Обратимся, наконец, к еще одному черновому материалу из архива Гоготишвили. Он представляет сугубый интерес для заявленной темы и, безусловно, заслуживает самого пристального внимания. Файл называется «Антиномии у Бахтина» (дата последнего сохранения: 26.06.2000). По своей структуре он многосоставен и неоднороден. Первая его часть — довольно объемный вариант начала статьи, озаглавленной «Антиномия и антитония». К ней присоединены упомянутые выше наброски, а также многочисленные вставки, связанные не столько с проблемой антиномий как таковой, сколько с полифонической концепцией Бахтина как ее разрешением. Об изменении первоначального замысла свидетельствует, в частности, план статьи, добавленный явно позднее перед заголовком «Антиномия и антитония». Ни один из его пунктов текстуально не пересекается с проблемой антиномий. Однако антиномичность, как было показано выше, мыслилась и как внутренний стержень интерпретации двуголосого слова и полифонии, и как основа их языкового механизма. Появление нового плана при сохранении прежнего озаглавленного варианта указывает на то, что последний рассматривался как философское вступление в лингвистическую тему. Однако добавление новых фрагментов и вставок постепенно превратило исходный текст в слабо структурированный черновик, уводящий, как кажется, все дальше от первоначальной проблематики. Тем не менее одна из финальных записей этой рабочей заготовки сигнализирует о том, что проблема антиномий у Бахтина по-прежнему оставалась в поле зрения Гоготишвили:

«Среди формирующих пространство бахтинской мысли антиномичных положений имеется одно не названное, но значащее для многих более частных антиномий противопоставление *персонализма* и *универсализма*. Полифоническую концепцию можно рассматривать как бахтинскую версию разрешения этой антиномии».

Из всех описанных материалов мы публикуем только первый вариант статьи. На сегодняшний день это единственный известный

текст Гоготишвили, где антиномичность рассматривается как самостоятельная философская тема, значимая для осмысления бахтинского наследия. Основной тезис исследователя заключается в том, что антиномизм служит фундаментом мысли Бахтина, формируя все смысловое пространство и архитектонику его трудов. При этом цельность позиции мыслителя задается особым принципом разрешения смыслового напряжения между антиномиями.

Гоготишвили уверенно вписывает Бахтина в контекст дискуссий начала XX в., подчеркивая, что концептуальной почвой для его философии послужили идеи Вяч. Иванова 1900–1910-х гг. Бахтин заимствует и переосмысляет ключевые онтологические параметры ивановской концепции: признание за антиномиями статуса самой реальности (а не просто следствия раздробленности человеческого ума), понимание бытия как «события» и отказ от диалектического синтеза, нивелирующего противоречия.

Особое значение имеет то, что перед непосредственным сопоставлением концепций Бахтина и Иванова Гоготишвили, в порядке настройки методологической оптики формулирует три направляющих вопроса, определяющих логику темы. Как понимаются антиномии — онтологически или гносеологически? Каков тип отношений между ними внутри системы? Наконец, как трактовать само целое, в пределах которого усматриваются эти антиномичные связи?

Отвечая на данные вопросы, Гоготишвили намеревалась решить две магистральные задачи: во-первых, доказать, что антиномизм Бахтина и Иванова принципиально отличается от трактовки антиномий в иных направлениях гуманитарного знания, использующих бинарный принцип (оппозиции); во-вторых, выявить концептуальные различия между двумя мыслителями при их несомненном глубинном сходстве.

В рамках первого направления она утверждает, что базовые установки Иванова и Бахтина противостоят традиционным путям развития гуманитарной мысли, включая диалектику и структурализм. В диалектике антиномии снимаются, сливаясь в единое «имя» (понятие). В структурализме же оппозиции нейтрализуются в абстрактной языковой системе или сознании автора. Иванов и Бахтин, напротив, искали способ сохранить качественную обособленность и полнозвучность антиномий в границах единого целого.

Подобное умозаключение закономерно: оно логически вытекает из ряда работ Гоготишвили того периода. За два месяца до написания публикуемого текста она завершила черновой вариант статьи «Рецепции символизма в гуманитарных науках» [13] (дата сохране-

ния файла: 23.04.2000). В этой работе исследовательница критиковала неадекватное, по ее мнению, восприятие символизма и имяславия современными учеными — Ю.С. Степановым, Ю.М. Лотманом, М.Л. Гаспаровым, С.С. Хоружим и А.М. Эткиндом. В отличие от печатной версии 2004 г., финальный раздел рукописи назывался «Антиномии». Он содержал развернутый вывод о том, что гуманитарная наука не уловила подлинного новаторства русского символизма, решавшего «проблему синтетических высказываний и проблему нового типа сочетания антиномий, поскольку сами антиномии тоже поняты не как разные и изолированные имена одной и той же сущности, а как разные предикаты к ней». В итоговом варианте заголовок главки был убран, а ее содержание сведено к тезису: «Фактически в русском символизме была предложена новая (условно: “предикативно-амбивалентная”) версия решения проблемы синтетических высказываний и новая версия языкового решения кантианской проблемы антиномичности» [13, с. 173].

С другой стороны, в этот же период Гоготишвили параллельно работала над преамбулами и комментариями к «Рабочим записям Бахтина 1960–1970-х годов» для шестого тома Собрания сочинений (2002). Согласно годовому отчету ИФ РАН, где трудилась исследовательница, к концу 2001 г. этот труд объемом 13 п. л. был завершен. Спустя несколько лет она планировала включить его в переработанном виде в монографию «Непрямое говорение» в качестве главы «Лингвофилософские взгляды М. Бахтина в восприятии филологических наук 60–70-х гг. (К истории гуманитарных идей в России XX века)», однако в итоге отказалась от этого замысла. Между тем в своем целостном виде данная статья имела бы важное значение для детального рассмотрения многих дискуссионных вопросов. В частности, это касается отношения Бахтина к структурализму и семиотике, а также его полемики с идеями В.В. Виноградова, Вяч.Вс. Иванова, Ю.М. Лотмана и Д.С. Лихачева о категории автора (прежде всего — полифонического автора). Характеристика парадоксального положения Бахтина в научной среде, рассредоточенная в комментариях по разным поводам, представлена в этой несостоявшейся статье в концентрированном виде:

> «…после продолжительной (более пятнадцати лет) дискуссии к середине и концу 70-х гг. практически все лагеря русской гуманитаристики, подчеркивая весомость тех или иных частных бахтинских положений, *в конечном счете отвергли основные идеи Бахтина* (*в частности, полифонию*)

по соответственно разным основаниям. Бахтин, со своей стороны, будучи, как свидетельствуют архивные данные, знаком с многолетним обсуждением его книг, не признал адекватности выставленных его магистральным идеям оценок и в последние годы жизни обострил выражение своих идей до почти эпатажных для того времени форм».

Таким образом, целенаправленно актуализированная тема структурализма в статье «Антиномии и антитонии» тесно связана с комментариями к поздним записям Бахтина. Однако существует и важное различие: в последних об антиномизме практически не упоминается. Данное понятие встречается лишь единожды — в замечании о том, что в рамках структурализма карнавальная концепция мыслителя трактовалась «как обоснование поддающегося нейтрализации антиномичного принципа верха и низа и т. д.», со специфической авторской ремаркой в скобках: «(на деле бахтинская амбивалентность нейтрализации не подлежит)» [5, т. 6, с. 635]. В этом контексте публикуемая работа, заостряющая внимание на проблеме антиномий у Бахтина, приобретает исключительное значение. Она демонстрирует многообразие подходов к разрешению этой проблематики в диалектике, символизме и диалогизме, что было крайне важно для Гоготишвили как исследовательницы лингвофилософского наследия Лосева, Вяч. Иванова и Бахтина.

Выявляя расхождения между двумя последними — при их очевидном сходстве, Гоготишвили возвращается к тезису о том, что именно Бахтин персонализировал онтологию и привнес в нее антиномическую тональность. Главное отличие его концепции от ивановской заключается в придании антиномиям персоналистического (личностного) характера. Если у Иванова антиномии представляют собой семантические противоположности внутри события бытия, то у его последователя антиномично то, что исходит от полярных личностных голосов. Бахтин дополняет тематический антиномизм тональным — акцентировкой объектов одного и того же смыслового поля со стороны разных субъектов. Именно это различие зафиксировано в названии статьи.

Многие наблюдения и выводы Гоготишвили получили развитие в ее трудах того же периода. Например, тезис о том, что «свои философские тексты Бахтин строил аналогично ивановским стихам: из антиномически противостоящих блоков разной смысловой природы», блестяще подтверждается реконструкцией плохо сохранившегося трактата «<К философии поступка>», предпринятой исследовательницей для первого тома Собрания сочинений. В теоретической

преамбуле и комментариях она последовательно проводит мысль об «антиномически организованном дискурсе» и «контрапунктном принципе смыслового строения» философского сочинения, близкого «антиномическому принципу Вяч. Иванова». Там же кратко упоминается теория двуголосого слова, характеризуемая «как результат перевода изначальной стилистической стратегии М. М. Б. в предмет его философских и гуманитарных исследований» [5, т. 1, с. 396–397]. При этом тезис о том, что «параллельность мифологического суждения и двуголосой конструкции — одна из наиболее существенных и "говорящих" черт близости между Ивановым и Бахтиным», детально обосновывается в другой, чисто лингвистической статье — «Двуголосие в его соотношении с монологизмом и полифонией». Здесь мы видим пример разделения единого лингвофилософского замысла на два блока в зависимости от жанра и типа изданий. Не случайно позднее Гоготишвили опубликовала сокращенный вариант преамбулы к трактату «К философии поступка» в статье «Нравственно-религиозный первопринцип раннего Бахтина как исток полифонического дискурса». В 2015 г. эта работа вышла на китайском и испанском языках, а ее русский вариант вошел в сборник «Лестница Иакова» посмертно [9, с. 80–105].

Некоторые проницательные идеи Людмилы Гоготишвили так и остались на уровне рабочих набросков. Среди них тезисы о том, что «Бахтин как бы стремился создать теорию символической (или мифологической) прозы», или что «все, что Бахтин говорил о поэзии, было им сказано в каком-то смысле персонально об ивановской поэзии». Сделанное лишь вскользь замечание о том, что формула Иванова «Единых тайн двугласные уста» может служить эпиграфом к бахтинскому двуголосию, на самом деле связывает их антиномические концепции в прочный узел. Этот ракурс принципиально важен для исследователей обоих авторов и выводит наш анализ на финальные итоги.

Итак, Гоготишвили обнаружила между Бахтиным и Ивановым, при всех указанных расхождениях, гораздо более глубокие концептуальные связи, нежели между творцом концепции полифонического романа и представителями русского платонизма или имяславия (П.А. Флоренским, С.Н. Булгаковым, А.Ф. Лосевым). Об этом красноречиво свидетельствует вторая энциклопедическая статья о Бахтине (2003). При сопоставлении ее с первой версией становится очевидно, что в ней полностью исключен раздел, где бахтинская философия языка соотносилась с платонической традицией и «русской, православно ориентированной философией» начала века. Вместо этого

в тексте появился новый фрагмент, резюмирующий опыт прочтения наследия Бахтина сквозь призму антиномизма Вяч. Иванова:

> «Собственно же эстетические инновации Б. (полифония, теория романа в целом, концепция карнавала) по тематике и телеологии самоопределялись в прямом диалоге с символизмом Вяч. Иванова (с ивановским тезисом “Ты еси”, с его идеей о мифологическом высказывании как синтетическом символическом суждении, обладающем как минимум двусоставной структурой, которая в модифицированном виде вошла в специфически бахтинскую категорию двуголосого слова; с поставленной Вяч. Ивановым проблемой рассмотрения не только и не столько содержания романов Достоевского, сколько их новаторской и вместе с тем рецептивно-архетипической формы, которая по-своему была решена в бахтинской полифонической концепции; с оппозицией Диониса и Аполлона и в целом с ивановским антиномизмом, который в переработанном виде вошел в бахтинскую карнавальную концепцию и т. д.)» [17, с. 55].

Вместо заключения

Очевидная для внимательного читателя антиномичность мышления Л.А. Гоготишвили напрямую связана с ее увлечением антиномизмом русского символизма. Антиномия для автора — не тупик мысли, а конструктивный принцип, позволяющий языку непрямо выражать скрытые смыслы, и одновременно — продуктивный метод метаописания глубинных механизмов речевой деятельности.

Выход монографии «Непрямое говорение» (2006) стал важной вехой в отечественной гуманитаристике. Однако ее рецепция в дальнейшие годы оставалась настороженной и неоднозначной. С одной стороны, узкий круг интеллектуалов с энтузиазмом признал книгу прорывом в феноменологии языка, открывающим новое измерение в трудах Вяч. Иванова, М.М. Бахтина и А.Ф. Лосева. С другой стороны, академическое сообщество, привыкшее к апробированному филологическому анализу, оказалось не готово к восприятию неординарной терминологической плотности ее письма. Монографию цитировали, но ее сложный язык воспринимался коллегами как «непрямое говорение в квадрате», что мешало широкому признанию и имплементации идей автора.

На этом фоне поэтическая пародия из архива Гоготишвили выглядит как уникальный метафилологический текст, который на практике иллюстрирует теоретические положения монографии. Она была

скопирована с интернет-форума в сентябре 2011 г. и подписана сетевым ником «*кто-то*» — с явной аллюзией на псевдоним И.Ф. Анненского (*Ник. Т-о*):

Антоним и Антином

Из тени в свет перелетая,
летела неподвижно стая
крылатых мыслей. Qui pro quo:
теперь я наблюдаю цапель
и океан в любой из капель,
не притворяясь дураком,

но, как святой Антоним, зная,
что жизнь смертельно озорная
предпочитает простоту,
а именно: Гоготишвили,
вы ж — се ля ви — продешевили,
держа синицу за мечту,

а журавля за строчку в книге.
В кармане созревали фиги,
и был глубокий Антином —
на мысли о бездонной мели
все корабли мои чумели
и, встав, ходили ходуном.

Каламбурное заглавие этого стихотворения созвучно названию задуманной, но нереализованной статьи Гоготишвили, к которой мы плавно переходим. Пародия демонстрирует глубокую теоретическую рефлексию: она не просто тематизирует антиномический принцип символического языка, но реализует на практике те двуголосые структуры, которые описаны в первых главах «Непрямого говорения» — о Вяч. Иванове и М. Бахтине.

Текст строится на столкновении противоположностей, языковой игре и абсурдизации лингвофилософских понятий. Комический эффект заложен уже в парономазии заглавия, где научные категории иронически трансформируются: бинарная оппозиция превращается в «святого Антонима» (Антония), а неразрешимое противоречие — в «глубокого Антинома». При этом во втором случае имя собственное обозначает не квазиперсонаж, а ментальное состояние («и был глубокий Антином»).

Стихотворение сознательно устроено так, что любая попытка его однозначной дешифровки заходит в тупик, порождая веер радикально противоположных, но равноправных смыслов. Главным инструментом пародии выступает латинская формула “qui pro quo” («одно вместо другого»), которая запускает тотальный алгоритм непрямого говорения. С этого момента в тексте активируется режим бахтинской амбивалентности.

В пародии просматривается несколько параллельных уровней. Поэтико-метафизический ракурс задается прямой отсылкой к поэзии Арсения Тарковского (стихотворение «Бабочка в госпитальном саду») и переносит читателя в область чистого созерцания. Оксюморонное парение мысли фиксирует феномен сознания в момент остановки времени («летела неподвижно стая / крылатых мыслей»). Однако медитативное созерцание «океана в капле» мгновенно заземляется очередной подменой (qui pro quo), вводящей немотивированный образ цапель. Через это снижение возникает тонкая ирония над лингвофилософским стилем самой Гоготишвили: ее изощренный метаязык, описывающий символическую референцию через антиномическую предикацию, естественным образом изолирует концепцию от широкого признания. Отсюда рождается академическая «фига в кармане» — скрытое отторжение, заложенное в пародийный текст.

Другой, прагматико-экономический вектор задается аллюзивной деформацией пушкинского «глубокого эконома» в «глубокого Антинома», что переводит лингвистический спор в регистр семантического обмена. Иронический выпад против научного сообщества, которое «продешевило», «держа синицу за мечту», оборачивается упреком академическому цеху, предпочитавшему формально-логический анализ и здравый смысл «золотому стандарту» непрямого говорения. Впрочем, адресат речи двоится: местоимение «вы», к которому апеллирует автор, может относиться и к самой Гоготишвили. В таком контексте труднопроизносимая фамилия исследовательницы контрастирует с той «простотой», которую предпочитает «жизнь, смертельно озорная», и предпочтение «журавля» как «строчки в книге» получает характер расщепленной референции.

Мерцающий сюжет стихотворения развивается за счет лавинообразного накопления антонимов (тень/свет, неподвижно/летела), антиномий (капля/океан, простота/сложность) и инверсии пословицы о синице и журавле. Накопление критической массы антитез приводит к контролируемому коллапсу рацио. Финальный катартический эффект пародии манифестирует логический тупик — оксюморонную границу «бездонной мели». Это обрушение логики

приводит к когнитивному сдвигу, аналогичному дионисийскому экстазу Вячеслава Иванова в трактовке Гоготишвили. Рассудок разбивается о собственные пределы, и в этой ментальной катастрофе рождается новое смысловое качество.

Через этот пародийный перформанс стихотворение неожиданно верифицирует фундаментальную правоту Людмилы Гоготишвили. В своей монографии она показала, что антиномический символизм Вяч. Иванова и бахтинское двуголосое слово предложили свой вариант решения кантовской проблемы априорных синтетических суждений. Если, согласно Канту, теоретический разум перед лицом антиномий неизбежно заходит в тупик, то пародийный текст демонстрирует иную феноменологическую реальность. Когда логика терпит крушение на «бездонной мели», этот ментальный коллапс (дионисийский экстаз) не уничтожает мышление, а генерирует принципиально новое, приращенное знание.

Символизм Иванова и двуголосое слово Бахтина, по Гоготишвили, удерживают противоположности в нерасторжимом единстве. В итоге пародия оборачивается триумфом концепции: текст наглядно показывает, как живой субъект речи силой поэзии совершает немыслимый для сухого рассудка акт — примиряет «святого Антонима» и «глубокого Антинома» в пространстве единого феноменологического созерцания.

После этой интермедии обратимся к публикуемому материалу, который дается в сокращении (не включена вторая часть записей, связанная с бахтинской концепцией полифонии). Все графические пометы (выделение основных моментов курсивом, полужирным шрифтом или прописными буквами), обычные для рабочих «заготовок», сохраняются. В таком виде текст точнее передает ход рассуждений автора.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Л.А. Гоготишвили

АНТИНОМИЯ И АНТИТОНИЯ

Формально проблема антиномий — это частная и конкретная философская тема, но содержательно она (как и все философские проблемы с долгой традицией) вбирает в себя в каждом конкретном случае отзвуки тех целостных «больших» концепций, в рамках которых получает разное решение, и как таковая может служить редуцированным символом этих концепций. Во всяком случае это так для философской концепции М.М. Бахтина.

Если соположить все бахтинские работы и рассматривать их как единый текст, то в нем не окажется ни одного концептуально значимого положения, которое не имело бы антиномичной пары. Можно говорить, что все пространство бахтинской мысли сформировано антиномичными положениями. Концептуальная цельность этого пространства ни тематически, ни аксиологически прямо в бахтинских текстах не дана, но она тем не менее «задавалась» Бахтиным. Цельность бахтинской позиции должна обеспечиваться — по его замыслу — неким особым принципом смыслового разрешения того напряжения, которое возникает между образующими его смысловое пространство антиномиями.

Это касается не только внешних, непосредственно тематически выраженных и композиционно или риторически используемых Бахтиным антиномий (полифония и монологизм, экспрессивная эстетика и эстетика содержания, абстрактный объективизм и индивидуалистический субъективизм и т. д.), но и внутренних — содержательных и/или аксиологических — антиномий, которые могли не приводиться Бахтиным в явное композиционно-риторическое столкновение. Дезориентирующая «невстреча» многих антиномичных положений Бахтина из разных работ на очной ставке в пределах одного конкретного текста неоднократно отмечалась в литературе (такие случаи могут объясняться временными причинами, то есть разным этапами становления бахтинской концепции и связанными с этим ее изменениями; классический пример — аксиологически противоположное толкование понятия *завершения* в *АГ* и *ПТД*[1]). Но и каждый отдельно взятый бахтинский текст также имеет внутреннюю — нериторическую — антиномичность, которая, даже не будучи заявлена тематически или композиционно, тем не менее «управляет» внешне «одноколейным» развитием смысла.

Антиномичность — *формо*образующий принцип архитектоники всех бахтинских текстов, установка на особый тип разрешения антиномичного напряжения — их *смысло*образующий принцип. Утверждение возможности некоего особого, обозначим его бахтинским термином — *амбивалентного*, типа формирования смыслового целого из антиномичных (тематических и аксиологических) установок и можно рассматривать как редуцированный символ бахтинской философской концепции в ее неявленной целостности, как ее регулятивную идею. Ниже эта идея будет рассмотрена в ее абстрагированном лингвофилософском аспекте, но в качестве пресуппозиционного фона постоянно будет иметься в виду, что предложенный Бахтиным амбивалентный способ разрешения антиномичного напряжения — это сфокусированная символическая концентрация философских, эстетических, лингвистических, литературоведческих и, возможно, религиозных воззрений Бахтина в их концептуальном целом.

Бахтинская концепция зарождалась не только в аксиологически разреженном философском «воздухе» западного неокантианства[2], но и в остро насыщенной противоборствующими аксиологическими ценностями атмосфере русской культуры начала века. В орбиту этих противоборств была вовлечена и проблема антиномий и разных способов разрешения возникающего между ними смыслового напряжения. Этот как бы частный и специально философский вопрос тем не менее непосредственно поднимался или подразумевался как эпицентр многих эстетических, философских и религиозных дискуссий начала века. Своей той или иной стороной он касался проблемы соотношения трансцендентного и тварного миров, проблемы соотношения мифа, культуры и религии, сердцевины дискуссий о символе, проблемы особости эстетического акта, специфики языка и т. д.

Бахтин прямо не выражал причастности своих идей к этим спорам, как и к ситуации в русской религиозной философии того времени в целом, но и здесь в том числе «дышат» его «почва и судьба». Наиболее существенное отношение к становлению специфически бахтинских тем и формированию его регулятивной идеи об амбивалентном типе образования смыслового целого из антиномичных установок имеет то решение проблемы антиномий, которое было намечено в десятые годы в своих основных чертах Вяч. Ивановым.

Проблема антиномий обсуждалась в начале века с разных сторон и на разных основаниях, но в интересующем нас контексте она может быть сведена к трем вопросам: 1) каков статус, придаваемый самим антиномиям, 2) необходимо ли снятие антиномичного напряжения в рамках объемлющего их целого или нужно обосновывать какой-

либо *иной* тип отношений между антиномиями в рамках целого, 3) как понимать то целое, в котором антиномии нейтрализуются, и как понимать те целые, в которых между антиномиями устанавливаются иные отношения, и каковы эти новые отношения?

Острие тогдашних споров по первому вопросу можно сформулировать так: есть ли антиномии отражение каких-либо сторон самой реальности, включая реальность высшего порядка, или антиномии суть только достояние и проявление человеческого ума, постигающего реальность в доступных и прирожденных ему вследствие его раздробленности формах антиномичности? Оставляя в стороне подробности и доказательства, зафиксируем, что Вяч. Иванов в его опубликованных в девятисотые и десятые годы работах склонялся к первому варианту ответа (второй вариант отразился, напр., в «Столпе…» П.А. Флоренского (1, 1, с. 158–9). *Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются*. — 159)[3]. За Ивановым в этом отношении просматривается небезразличная Бахтину фигура Ницше и весь круг тем, связанных с проблемой соотношения дионисийства и аполлонийства как некой архетипической оппозиции[4].

Склонность понимать антиномичность не просто как естественную форму сознающего разума, но и как отражение неких исходных онтологических свойств реальности — маркированный для дальнейшего развития гуманитарной мысли момент. Иванов привлек эту идею для обоснования символизма, но с ней же будут так или иначе связаны через опосредствующие звенья все версии использования бинарного принципа в гуманитарном мышлении, включая понятие оппозиций в лингвистике, структурализме, антропологии и мифологии.

Подчеркивание взрывающей традиционное мышление возможности понимать антиномичность как отражение бинарности самого бытия резко обостряло ситуацию вокруг второго вопроса — вопроса, во-первых, о необходимости разрешения антиномичного напряжения, и во-вторых — о формах иных (не нейтрализующих) типов отношений между антиномиями в пределах целого.

Ниже про историю развития в этом отношении структурализма. Если антиномии отражают некие свойства самой реальности, значит имеющееся между ними напряжение онтологично и потому его не следует элиминировать (снимать, нейтрализовать и пр.). Прежде всего нужно выявить их основной состав, описать, классифицировать и т. д. — так родилась структурная мифология и антропология. На сама по себе эта цель оказалась недостижимой — чтобы выявлять и классифицировать антиномии, надо было рассматривать их в рамках какого-либо целого или иметь некое общее основание

для их противопоставления. Качество антиномичности может проявиться только на фоне общности. Это искомое целое, обеспечивающее восприятие самого факта антиномичности, стало пониматься по-разному. Наиболее распространено оказалось понимание антиномий как включенных в общую семантику языка, а самого принципа антиномичности — как одного из формообразующих оснований семантической языковой системы. Однако ничто семантическое не может удержаться в абстрактной атмосфере нереализованного и только потенциального языка, полностью вместившись в нее; оно начинает обрастать конкретными аксиологическими, эстетическими, этическими и т. д. смыслами. Стало соответственно расширяться в своем объеме и понятие семантической системы языка. Оно постепенно «нарастало» до типа сознания (например, мифологического), типа культуры, а затем начало дифференцироваться до разного рода разновидностей этих крупных целых — до типов текстов, социальной типологии аксиологических систем и т. д. и т. д. В конечном счете проблема уперлась в отдельный текст, который тоже надо было понять как своего рода целостность. Круг замкнулся: двигаясь от потенциальной целостности нереализованной системы языка, исследовательская мысль подошла к актуальной целостности языковой структуры каждого данного реального текста. На конкретный текст были перенесены те методы, которыми исследовалась семантическая система языка и формообразующая роль антиномического принципа. Считалось, что без этой экспансии абстрактно лингвистических интеллектуальных процедур проблема целостности конкретного текста не поддается разрешению.

И ивановская, и бахтинская позиции, вопреки их распространенному пониманию как предшественниц, например, структурализма, радикально не соответствуют этому основному «руслу» развития антиномичной темы.

Антиномии «лично» между собой не вступали в персональные отношения; их размещали в разные участки этого обымающего их целого и все.

Иванов замыслил иное: напрямую свести антонимы, но не так, как они сводились ранее (например, в диалектике), а на новых основаниях. Это личное сведение (очная ставка) антиномий принципиально не было их снятием (если антиномии отражают некие свойства самой реальности, их нельзя снять, то есть свести в некое одно), это было утверждение иного типа совместного существования антиномий в самой реальности. Вместо сведения антиномий в единое

синтетическое имя, Иванов предложил устанавливать между ними **предикативную** связь.

При не онтологическом понимании антиномий как следствий раздробленности человеческого ума, если оно развивалось в рамках признания возможности «касания к мирам иным», необходимость снятия антиномического напряжения принималась как естественная презумпция (если антиномичность — следствие человеческого ума, а сама онтология не антиномична, то для адекватности познания антиномии необходимо снять). При таком понимании проблема заключалась в другом — в возможности или невозможности такого снятия силами самой познающей реальность стороны. Имелось две версии. В первом случае возможность разрешения антиномичного напряжения внутри себя и внутри порождающего их человеческого ума не признавалась в принципе (антиномии рассматривались как неразрешимые, а целостное восприятие реального считалось достижимым только через откровение и/или другие особые состояния сознания). Во втором случае возможность разрешения антиномичного напряжения внутри порождающего их человеческого ума признавалась — в собственно интеллектуальной или языковой сферах. Признавалась эта возможность и в ивановском символизме, но способы разрешения антиномий понимались принципиально по-разному.

Противоположная ивановской версия разрешения антиномий, основанная на их понимании как порождений человеческого ума, развивалась в русле **диалектики**. Антиномии, согласно этой точке зрения, напряжены только в человеческом уме, в самой реальности антиномическое напряжение онтологически не значимо. Реальность есть некое одно, которое сначала отражается в человеческом уме в виде антиномий, но затем может быть схвачено человеческим умом процессуально в форме ритмично движущихся в дискурсивном рассуждении антиномий, приходящих в конечном счете к синтезу. В содержательном отношении диалектический синтез антиномий имеет вид целостного, хотя и сложносоставного, *понятия*, в языковом отношении он аналогичен процессу *именования*. Диалектический синтез есть достигнутое путем разрешения антиномического напряжения целостное *имя* реального. Аналогичен по своей природе, согласно этой версии, и символ. И по Флоренскому, и по Булгакову, и по Лосеву, символ есть по природе своей имя[5].

Иванов мыслил иначе. В форме антиномий и возникающего между ними напряжения человеческий ум по-своему отражает онтологически значимые свойства самой реальности (включая высшие сферы).

Если же антиномическое напряжение отражает некие свойства самой реальности, то диалектический вариант его разрешения, отражающий специфику человеческого мышления, входит в противоречие с этими свойствами реальности, поскольку диалектическое синтетическое единство рассуждения сглаживает и редуцирует их вплоть до исчезновения. Редуцирует качественное наполнение реальности любое семантически замкнутое в себе образование человеческого ума — понятия, категории, аналитизм, диалектика, именование. И даже далее и более: редуцирует реальность замкнутое на себя чистое Я феноменологии. Символ в его ивановском понимании тем и отличается, что он семантически не замкнут, не предполагает статичного смыслового образования, без изменений переходящего из контекста в контекст.

Согласно Иванову, не антиномичность, но, напротив, изолированное именование есть специфически «сниженное» свойство человеческого ума. А значит таковыми являются и связанные с принципом именования, основанные на нем аналитизм и диалектический синтез (а впоследствии это будет и структура текста, ибо целостность текстовой структуры будет опять пониматься как синтез антиномий в некоем внешнем целом; текст опять есть замкнутое имя). В изолированных именах, а не в антиномиях, мы искусственно подразделяем континуальную реальность на дискретные моменты и останавливаем ради надобностей человеческого ума ее длящуюся непрерывность. Символ, по Иванову, принципиально не есть имя. За символом не стоит нечто статично определенное в смысловом отношении; в каждой новой «сфере» пронизывающий их символ порождает новый смысл (*змея* может означать раскаяние, измену и пр.). Более того — и здесь Иванов возвращает рассуждение к исходной точке — смысл каждого символа может не просто меняться, но меняться на антиномично противоположный (*смерть*, по Иванову, уже несет в себе *жизнь* и наоборот).

В этом одно из принципиальных отличий символа от имени: имя внутри себя однородно и «непротиворечиво», символ — антиномичен. Будучи таковым, символ, по Иванову, адекватно ознаменовывает недоступные изолированному именованию свойства реальности. ВНИМАНИЕ: ПО БАХТИНУ ЕГО АМБИВАЛЕНТНЫЕ ЕДИНИЦЫ ТОЖЕ ВНУТРИ СЕБЯ АНТИНОМИЧНЫ, НО НЕ ТОЛЬКО ТЕМАТИЧЕСКИ, КАК У ИВАНОВА, НО И ТОНАЛЬНО. ТОНАЛЬНОСТЬ — НОВОВВЕДЕНИЕ БАХТИНА.

То, что репрезентируется символизмом, есть, по Иванову, не изолированная статичная сущность, а *событие*. Событие иначе репре-

зентируется языком, нежели предмет или сущность. Адекватное ознаменование события осуществляется, по Иванову, не изолированным символом и не символом как таковым, а символическим (или мифологическим) высказыванием. Если бы изолированный символ понимался как уже исполненное адекватное ознаменование, в котором непосредственно дано разрешение антиномичного напряжения, то такой символ не имел бы принципиальных отличий от имени. Не имел бы символ принципиальных отличий и от диалектического синтеза, приближенного в своей семантической структуре к имени. В обобщенном виде ивановская идея состояла здесь в том, что адекватное ознаменование достигается синтетическим мифологическим суждением, которое включает в себя символ, помещенный в позицию синтаксического субъекта, и глагол в позиции синтаксического предиката. Иванов таким образом ввел в проблему антиномичности **предикативное** измерение.

Введение предикативного параметра при всей своей видимой лингвистической техничности максимально насыщенно философски и религиозно: означая ввод Ивановым запрета на сворачивание символического суждения в имя, оно предполагает иной тип протекания смысла в речи и иной (не именующий) тип связи между «двумя мирами». Предикативное мифологическое суждение Иванова не может быть свернуто в имя ни по аналитическому, ни по диалектическому, ни по нейтрализующему, ни по риторическому, ни по «обыденному» образцу. Символизм тем самым резко противопоставляется всем типам философского дискурса и обыденной речи.

Максимальной наглядности эта ивановская идея достигает тогда, когда как антиномичные друг другу понимаются сами субъект и предикат мифологического синтетического суждения (по типу: *Умереть — знай — жизнь благословить*). Здесь соблюдены оба условия: антиномии входят в некое символическое целое, но одновременно сохраняют свою качественную определенность и независимость.

Сближение мифологического суждения с проблемой антиномичности — не искусственная интерпретация ивановской идеи в интересующем нас направлении, но ее заострение в свойственном ей же направлении. Та или иная степень или форма антиномичности присутствует, по ивановскому замыслу, в каждом мифологическом суждении (факт синтетического объединения в нем двух компонентов должен, по ивановскому определению, вызывать «*удивление*»).

В структурализме проблема соотношения антиномий решается иначе: они не вступают между собой в синтаксическую связь,

а семантически противо- или сопоставляются вне собственно синтаксической (и прагматической) структуры. Ивановский же символизм предполагает синтаксическую связь антиномий — как это происходило и в диалектике, но у Иванова антиномии не сливаются в одно языковое имя, а образуют двусоставную синтаксическую структуру предикативной природы, не допускающую своего сворачивания в изолированное имя. Даже если антонимы вступают в мифологических символических высказываниях в определительную, то есть близкую к именованию, связь (*рождающая смерть*), в этой связи между антонимами активизируется момент семантической и синтаксической раздельности, а не возможность их смыслового слияния и взаиморастворения (как это происходит в синтетических диалектических именах, напр., эйдос — это *движущийся покой*). Достигается это «неслияние» разными способами, в том числе введением активного залога в определение глагольного происхождения (*рождающая смерть*, а не *рожденная смерть*). В диалектическом синтезе активизирован, напротив, пассивный залог (*движущийся покой*, а не *движущий покой*). Все это, конечно, контекстуально: с формально-языковой точки зрения символические и диалектические сочетания антонимов могут совпадать, однако контекст, в который они введены, либо предполагает (диалектика), либо отрицает (символизм) возможность их сворачивания в цельное имя. **В символическом языке поэзии антонимичное определение — это свернутый предикативный акт, в диалектике — развернутое имя**. Свернутый предикативный акт и развернутое имя, согласно Иванову (в отличие, например, от имяславия), принципиально не одно и то же.

Уже по этому краткому изложению ивановской позиции в вопросе о природе антиномий и способах снятия антиномичного напряжения видно, что многие специфически бахтинские темы и повороты мысли аналогичны ивановским: оценка антонимических сил мысли и языка как имеющих онтологический статус; связанное с этим понимание реальности не в модусе сущности, а в модусе события (*событие бытия* — по Бахтину); оспаривание аналитизма и диалектики в пользу иных типов дискурсивного движения языкового смысла; тезис о невозможности разрешить антиномичность в тематически и тонально едином имени и основанное на этом акцентирование двучастных языковых структур предикативной — а не именующей — природы; тезис об отсутствии прямого однозначного соответствия между семантикой языка и реальностью и др. Бахтин разделял ивановскую установку на поиск новых форм смысла и новых форм его языковой жизни.

Это — глубинное сходство в самих принципах мышления Иванова и Бахтина, на фоне которого яснее и значительнее проступают множество других отмечаемых в литературе более частных аналогов (как тематических — напр., снижение значимости сюжета в художественных произведениях, так и чисто терминологических — напр., монологизм, полифония и мн. др.). **В определенном смысле можно говорить, что свои философские тексты Бахтин строил аналогично ивановским стихам**: из антиномически противостоящих блоков разной смысловой природы, между которыми заданы особые (не аналитические, не диалектические, не риторические, не нарративные и др.) отношения, снимающие антиномическое напряжение без потери самоценности и полнозвучности каждой антиномии. Ивановский символизм — почва философской концепции Бахтина в ее целом (причем не только карнавальной, но и полифонической теории).

Однако, ивановский символизм — именно «почва», но не древо бахтинской концепции. Между Ивановым и Бахтиным различий не меньше, чем сходств. Бахтин произвел существенную коррекцию ивановского символизма. Самым принципиальным отличием является иное понимание природы антиномических сил и связывающих их в синтаксическом целом отношениях. Признавая за антиномиями, как и Иванов (возможно — непосредственно вслед за Ивановым), онтологический статус, Бахтин придал им отсутствующую у Иванова персоналистическую природу. У Иванова онтологический смысл антиномий понимался как результат обращения позиций внутри события бытия (*жрец есть жертва* и *жертва есть жрец*), а сами антиномии в целом понимались традиционно — как семантические противоположности. Бахтин же напрямую связал антиномии с разделением личностных голосов и ввел это персоналистическое разделение в саму онтологию как ее конститутивное измерение. Архитектоника события бытия выстраивается не абстрактными позициями, а личностными участниками. Антиномично, по Бахтину, не то, что функционально соответствует разным позициям в событии и семантически противоположно, но то, что исходит от разных голосов. Антиномична любая связь голосов Я — Ты, Я — Он, Я — Мы, Он — Ты и т. д. Семантический критерий отходит здесь на второй план: тематическая составляющая личностно разных голосов может быть одной и той же, но голоса тем не менее вступят в антиномичные отношения посредством разной акцентировки этого единого тематического блока. Там, где есть две личности, там, по Бахтину, уже есть антиномия. Философская антиномичность стала в персонализме Бахтина частной и даже периферийной вариацией диалогических отношений.

Проблема целого. В бахтинской концепции произошло не просто смысловое расширение традиционной темы антиномий за счет включения дополнительного персоналистического измерения, но и переосмысление проблемы целостности. Это переосмысление шло в двух направлениях. Там, где на первом плане стоял вопрос о снятии антиномий в составе, например, диалектического целого, Бахтин, напротив, ставил вопрос о вскрытии антиномических (персоналистических) границ в тех целых, которые ранее считались монолитно едиными. Бахтин проблематизировал само понятие монолитной не антитетической целостности, включая и то, которое развивалось в феноменологии (а впоследствии и в основывавшихся на ней гуманитарных направлениях).

Вставка про гуссерлианскую феноменологию[6]. Чистое сознание Гуссерля, появляющееся вследствие редукции естественной установки на конкретное восприятие мира здесь и сейчас, исключает почти все персоналистические черты, но тем не менее сохраняет сам принцип Я. Это — чистое Я. Сначала сам Гуссерль хотел редуцировать и его, но затем отказался, поскольку, мол, невозможно (есть пометы в книге)[7]. *От себя*: И вот это чистое Я как раз и обеспечивает целостность чистого сознания. Без этой целостности нельзя было бы говорить о чистом сознании как единстве. Это было бы текучестью. Понятие сознания, сколько его ни очищать от персональных и типологических составляющих, в самой своей презумпции содержит понятие целостности. По Бахтину, целостность должна объясняться не силами понятия сознания.

Чистое Я феноменологии можно использовать в теме единства конкретного текста (произведения). В структурализме, который открыто опирался на феноменологию, это Я тоже должно было учитываться. Единство семантической структуры языка понималось по типу гуссерлианского чистого сознания. В презумпции здесь тоже лежало неотмысливаемая предпосылка чистого Я, и именно это и обеспечивало единство семантической системы.

Чем еще можно было бы обеспечить единство? Далее, когда интерес структурализма сдвинулся в сторону жизни языка в текстах, пошел естественный процесс насыщения чистого Я реальными содержательным и ценностными коннотациями. У Лотмана этот естественный процесс завершился с виду алогичным, но на деле закономерным введением понятием образа автора, которое обеспечивает единство конкретного произведения[8]. Для конкретных текстов мало

оцельняющей силы чистого гуссерлианского Я. Чтобы обосновать частную текстовую структурность, пересечение семантических рядов, рождение точек нейтрализации, новых противопоставлений и т. д., нужно было конкретизировать абстрактное чистое сознания (конкретное сознание автора по-своему интерпретирует абстрактное чистое сознание). Как чистое сознание обеспечивало единство семантической структуры языка, так сознание автора обеспечивает единство структуры конкретного текста.

Любопытно, что структурализм, будучи основан на идее онтологической природы антиномий, вернулся к диалектическим интеллектуальным процедурам — то есть к процедурам, основанным на отрицании антиномичности как отражении определенных свойств самой реальности. В системе языка оппозиции «нейтрализуются» в некоем общем понятии вполне по-диалектически, в конкретном тексте автор тоже нейтрализует оппозиции в соответствии со своим личным замыслом тоже по диалектической методе (нейтрализует, противопоставляет и пр.). В антиномичности тем самым значительно ослабляется ее онтологизм. Круг почти замкнулся: на первый план в структурализме в конце концов выдвинулось целое, понимаемое аналогично тем целым, которые мыслятся в рамках толкования антиномий как свойств только отражающей, но не отражаемой субстанции (только раздробленного человеческого ума, а не самой реальности).

Хотя у само Гуссерля есть и принцип нейтрализации и, кстати, очень много про предикативный характер высказывания. Есть интересный термин — *предикативный синтез*[9].

Вопрос: а разве мне для обоснования антиномичности бахтинской позиции не нужно нечто вроде этого же чистого сознания и чистого Я? Нет, не нужно — мне нужно не единство чистого сознания или сознания вообще, а топографическое единство. В том-то и дело, что Бахтин развел антиномии по разным сознаниям. А в таком случае они могут сочленяться только как-то иначе, чем в едином сознании. Топография должна быть как-то иначе едина, чем сознание. СОГЛАСНО МОЕЙ СТАТЬЕ ПРО РЕЦЕПЦИЮ СИМВОЛИЗМА, РЕШАЕТ ЗДЕСЬ ВСЕ ПРАГМАТИКА[10].

В чем же разница между единством чистого сознания и топографическим единством? Или топографическое сознание — это отрицание чистого сознания как такового (нет единого одного чистого сознания, есть типы?) Единая картина мира должна строиться не по типу единства сознания.

Гуссерль, не сумев снять чистое Я, тем не менее снял трансцендентального Бога. А значит снял вообще проблему диалога.

Но проблематизация монолитных единств не означала снятия самой проблемы целостности. Это было вторым — и главным — направлением бахтинской мысли. Для того, чтобы нечто могло быть между собой антиномичным, а «голоса» мыслились как таковые, должно существовать некое целое, в пределах которого возможно установить факт антиномичных отношений. Без пресуппозиции целого между голосами невозможно установить вообще никаких отношений. Такое целое и по той же причине искалось и в структурализме, там эти поиски завершились феноменологическим чистым сознанием и чистым Я, которые обеспечили целостность семантической структуры языка. Новое — персоналистическое — понимание Бахтиным природы антиномичности требовало поиска нового типа целостности, в рамках которого могли бы проявляться диалогически-антиномичные отношения между разными Я. Поиски этого нового типа целостности и составили основную интригу развивающейся бахтинской концепции. Направление поиска традиционно — установление условий, при которых то, что антиномично, может составить некое целое. Различными вехами на этом пути стали бахтинские теории двуголосого слова и полифонии.

Поиски Бахтиным нового типа целостности в определенном смысле имели и контр-ивановский смысл. С одной стороны, принципиальная бахтинская коррекция ивановского символизма за счет слияния принципа антиномичности с персоналистическим критерием разделения тоже в определенной степени была, как известно, навеяна ивановским тезисом *Ты еси*. Но, с другой стороны, Иванов, согласно Бахтину, ограничился только содержательным рассмотрением этого тезиса, не распространив его действие на принцип формы[11]. Бахтин говорил это применительно к полифонической форме, но это значит и то, что Иванов, по Бахтину, не распространил действие принципа *Ты еси* на способ порождения новых типов целостности, оставшись тем самым в пределах традиционных ментальных единств, называемых Бахтиным монологическими.

Иначе проинтерпретировав природу антиномий, Бахтин в поисках новой целостности тем не менее опять двинулся по ивановскому пути. Он тоже искал синтаксические связи антиномий, а не их абстрактного семантического соотношения, что характеризовало структурализм. Как Иванов вводил антонимы внутрь целостного мифологического суждения, так Бахтин ввел два голоса внутрь единой двуголосой конструкции. **Параллельность мифологического**

суждения и двуголосой конструкции — одна из наиболее существенных и «говорящих» черт близости между Ивановым и Бахтиным. Если рассматривать бахтинское двуголосое слово на этом фоне, то становится очевидным, что поскольку функционально оно понималось им аналогично мифологическому высказыванию Иванова, постольку за реальным двуголосием романного слова им, соответственно, мыслился **архетип двуголосого пра-мифа**.

Далее опять последовала развилка между бахтинской и ивановской концепциями. Ивановский путь сведения антонимов в единую синтаксическую конструкцию не обеспечивал выполнения телеологических целей бахтинского персонализма, и даже противоборствовал им. Вводя, как и Иванов, антонимы в состав единой синтаксической конструкции, Бахтин предполагал утвердить иное понимание их смыслового соотношения. Если антиномичность «всерьез» понимать персоналистически, то единственным адекватным способом разрешения напряжения может быть, по Бахтину, *диалог* антиномий. Все дальнейшее развитие бахтинской концепции по существу стимулировалось именно этим стремлением обосновать диалог в рамках особого типа целостности.

Диалогический подход Бахтина отличен не только от аналитизма и диалектики, но и от ивановского символизма. Хотя антонимы, вступившие в рамках единого символического высказывания в синтаксическую связь, считались Ивановым сохранившими свою самостоятельную семантическую силу (что требуется и при персоналистическом понимании антонимов), те отношения, которые устанавливаются при этом между ними в составе мифологического суждения, не диалогические. Назвать этот описывавшийся Ивановым тип отношений между антонимами в его принципиальном отличии от аналитики и диалектики одним точным словом затруднительно (сам он говорил о *синтетичности* суждения); в данном случае важно, что для Бахтин они оставались столь же монологическими, как и отношения между антонимами в аналитике и диалектике. В ивановском символическом высказывании продолжало действовать одно или общее сознание; измерение *разных* сознаний в нем не предполагалось.

У Бахтина есть прямые высказывания о том, что антонимы вступают в диалог (Двутелые споры и диалоги и их значение в истории литературы. Спор старости с юностью, рождающего с рождаемым в конечном счете является подосновой основного трагического конфликта всей мировой литературы: борьбы отца с сыном (смена), гибели индивидуальности. «Лучший дар — нерожденным быть», 5, 144)[12].

У Иванова — «Единых тайн двугласные уста» (2, 417)[13]. Это — как бы эпиграф к бахтинскому двуголосию.

Связав антонимы с голосами и принципиально изменив тем самым ивановскую идею мифологического суждения, Бахтин вместе с тем отнюдь не хотел отказаться тем самым от того свойства ивановского мифологического суждения, которое можно условно и ради первого приближения назвать вслед за Ивановым *адекватностью ознаменования*[14]. Ивановские антонимы, объединенные в рамках символического синтаксического целого, сохраняли свою самостоятельность и одновременно связанность и в таком виде целокупно и адекватно ознаменовывали реальное — ознаменовали пра-миф. За двуголосием тоже стоял пра-миф, оно также должно обладать свойством адекватного ознаменования.

Но в идее двуголосого слова самом по себе искомого Бахтиным равновесия антонимов и адекватности ознаменования не получилось: один из антонимов преобладал, то есть в двуголосом слове всегда преобладал один из его голосов, а именно — тот, который был помещен в позицию предиката. Именно поэтому двуголосые конструкции были в конечном счете признаны Бахтиным монологическими (как и символические суждения Иванова). Адекватность ознаменования двуголосого пра-мифа в таких условиях невозможно было провозглашать даже теоретически. Нужно было не просто обосновать двуголосое слово как особый вариант совмещения антиномий, но найти некий **особый тип двуголосия**, в котором возможно утверждать равновесие голосов, а вслед за этим, соответственно, и возможность адекватного «ознаменования» пра-мифа. Эту функцию была призвана выполнить **полифония**[15].

Теоретически Бахтин выстроил полифоническую концепцию как обоснование способа выполнения этой функции, реален ли теоретический концепт полифонии на практике — вопрос другой (мы вернемся к проблеме осуществимости полифонии ниже). Здесь нам пока важно зафиксировать, что такой ракурс позволяет определить телеологическое «место рождения» полифонической концепции: она — по замыслу — должна была в обновленной рецепции возродить в рамках культуры, основанной на обостренном персонализме, то равновесие антонимов в символическом целом и адекватность ознаменования, которые были естественно свойственны внеличностно понимаемому в символизме мифу. Сама **идея свести персонализм с символическим онтологизмом** далеко не нова, но Бахтин как бы хотел примирить их обратным обычному образом: не через онтологизацию или символизацию персонализма (превращающую личность в вещь,

символ или сущность), а через персонализацию онтологии (понимание вещи, сущности и символа как личностей).

Транспонирование в эстетику. В эстетике эта персоналистическая задача трансформировалась в проблему обоснования художественной природы прозаического слова. Выбор Достоевского как автора, осуществившего некий новый прорыв в форме, тоже мог быть связан с Ивановым. Но и здесь диалог с ивановской мыслью строился Бахтиным по амплитуде спора-согласия. В «Экскурсе о “Бесах”» Иванов утверждает наличие в романах Достоевского некоего основного пра-мифа и дает следующее показательное в нашем контексте “внешнее” описание мифа (4, 437): миф — это основное, сосредоточившее в себе всю символическую энергию, ядро произведения, *эпическое по форме* (то есть не в виде изолированного имени или даже символа, а в виде предикативного повествовательного словосочетания) и *внутренне антиномичное*[16]. Облаченность внутренне антиномического во внешне эпическое — это, собственно говоря, парафраза вышеописанного ивановского определения мифа как синтетического суждения с символом в позиции субъекта и с глаголом в позиции предиката. Однако это именно — парафраза. Идея о синтетическом суждении здесь серьезно изменена: в определении мифологического суждения антиномии и имеющееся между ними напряжения считаются данными не внутренне (имплицитно), но явно — в самой синтаксической и лексической языковой форме. В определении же пра-мифа романов Достоевского Иванов говорит именно о внутренней антиномичности, об антиномичности, не вышедшей на лексико-синтаксическую поверхность языкового дискурса эпического типа.

С другой стороны, это ивановское определение романного прамифа (*эпическое по форме* и одновременно *внутренне антиномичное*) может считаться прямой, не перифрастической формулой бахтинского двуголосого слова (с той описанной выше разницей, что в двуголосом слове антиномичность понимается не семантически, а персоналистически, то есть тонально). И более того: эта ивановская формула вполне может быть отнесена и к полифонии (с поправкой на ту же разницу). Бахтин наполнил эту ивановскую формулу своим содержанием.

В ивановской теории мифологического синтетического суждения как реальной языковой практики его же персоналистический по сути принцип *Ты еси*, действительно, не был задействован. Этот персоналистический тезис в отличие от теории мифологического суждения излагался Ивановым не в практически-лингвистическом, а в общефилософском и религиозном смысле (в пределе — как диалог с Богом).

Бахтин же соединил эти принципиально разделенные ивановские идеи, то есть объединил тематический принцип *Ты еси* с инновацией в области языковой формы мифологического суждения.

Речь идет совсем не о том, что Бахтин-де осуществил то, возможность чего Иванов не увидел. Напротив: речь идет о том, что Бахтин здесь пошел наперекор принципиальному решению Иванова. Иванов не объединял эти две свои идеи по той причине, что относил их к разным сферам жизни языка — *поэзии* и *прозе*, отдельность которых он ревниво оберегал. Реально облаченное в язык синтетическое мифологическое суждение мыслилось им естественно живущим и возможным только в поэтической речи, в прозе же пра-миф мыслился им как внутренний концепт, не имеющий непосредственной языковой формы, прямого синтаксического выражения. Если в поэзии миф дан явленным в языке и может быть воспринят непосредственно, то внутренний концепт прозаического мифа непосредственно воспринять нельзя, его нужно восстанавливать. Внутренний миф в прозе — не форма (как в поэзии), а нуждающееся в реконструкции содержание, сокрытое под внешне немифологической речью. Поэт Иванов не мог увидеть у прозаика Достоевского — при всем его почитании — непосредственно символическую речь, философ Бахтин готов был ее увидеть. Соединив разобщенные у Иванова принцип *Ты еси* и обоснование поэтической мифологической формы, Бахтин поместил полученный результат этого соединения в область прозаического слова. **Бахтин как бы стремился создать теорию символической (или мифологической) прозы** — но не только с точки зрения символичности ее содержания, признаваемой и Ивановым, но и с точки зрения символичности ее собственно языковой формы, Ивановым отрицаемой. И прозаическое употребление языка может быть, по замыслу Бахтина, символическим (в противовес несимволической эстетике этот тезис звучит иначе: и романное слово может быть собственно художественным).

Естественно, искомая Бахтиным символическая языковая форма прозы должна была отличаться по теоретическим параметрам от языковых форм символической поэзии. Этот нерв оспаривания ивановских идей можно ощутить в многочисленных бахтинских высказываниях о поэзии. Если несколько заострить, то все, что Бахтин говорил о поэзии, было им сказано в каком-то смысле персонально об ивановской поэзии. В таком ракурсе обычные оценки смещаются: Бахтин отнюдь не снижал поэтическое слово (он оставлял его на исходной высоте), Бахтин повышал символический (в другой терминологии — эстетический) статус прозаического романного слова, что

могло создавать обманный оптический эффект снижения слова поэтического[17]. Бахтинская телеология была, повторяем, в том, чтобы обосновать возможность прорыва в «реальнейшее» не только поэтического, но и прозаического слова. <…>

[1] Речь идет об одном из самых противоречивых положений Бахтина об *эстетическом завершении* автором произведения и героя. В ранней работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (*АГ*) утверждается, что «автор — носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому отдельному моменту его» [5, т. 1, с. 95]. В «Проблемах творчества Достоевского» (ПТД, 1929), наоборот, говорится о том, что полифонический роман Достоевского принципиально отличается от монологического романа именно с точки зрения категории завершения, что «в произведениях Достоевского нет окончательного, завершающего, раз и навсегда определяющего слова. <…> Слово героя и слово о герое определяются незакрытым диалогическим отношением к себе самому и к другому. Авторское слово не может объять со всех сторон, замкнуть и завершить извне героя и его слово. Оно может лишь обращаться к нему» [5, т. 2, с. 154]. О дискуссиях вокруг этой темы см. комментарий С.Г. Бочарова: [5, т. 2, с. 446–447].

[2] Детальный логико-философский анализ сближений и расхождений с неокантианством дан в теоретической преамбуле Гоготишвили к трактату Бахтина «К философии поступка» [5, т. 1, с. 361–414].

[3] Имеется в виду рассуждение Флоренского в главе «Противоречия»: «Смотря на одно и то же с разных сторон, т. е. действуя разными сторонами духовной деятельности, мы можем прийти к антиномиям, к положениям несовместным в нашем рассудке. Только в момент благодатного озарения эти противоречия в уме устраняются, но — не рассудочно, а сверх-рассудочным способом. Антиномичность вовсе не говорит: “Или то, или другое не истинно”; не говорит также: “Ни то, ни другое не истинно”. Она говорит лишь: “И то, и другое истинно, но каждое — по-своему; примирение же и единство — выше рассудка”. Антиномичность — от дробности самого бытия, — включая сюда и рассудок, как часть бытия»; указаны страницы по первому переизданию изданию «Столпа и утверждения Истины» (1990); в совр. изд.: [19, с. 164–156].

[4] Ср. в комментарии к «Философии поступка» о контексте бахтинского сближения христианства и «наивного реализма» в соединении с общей идеей принципа *себя-исключения*: «Совокупный ассоциативный пласт здесь с очевидностью напрашивается: это та многоярусная и неоднозначная, но единая проблематика (в том виде, как она разрабатывалась во временном философ-

ском пространстве от романтиков, Шопенгауэра и Ницше до Вяч. Иванова), которая связана с соотношением всех проявившихся в новое время вариантов как “наивного реализма” (включая возрожденное язычество, мифологическое мышление, ритуальное восприятие жизни и такой своеобразный поворот темы, как ницшеанская критика ресентимента), так и “наивного идеализма” (в ивановском смысле) с христианством. В это единое концептуальное поле входила в том числе обострившаяся проблема антиномического противостояния и поиска “союза” дионисийского и аполлонийского начал (в их обобщенно-концептуальном смысле), а вместе с ней и все проблемы, связанные с архитектоникой мистерии и/и ли трагедии в их корреляции или отсутствии таковой с жизнью (включая проблему онтологического статуса категории “рампы”) и, соответственно, с сердцевиной этой темы — с остро обсуждавшейся проблемой соотношения жертвы и жреца, хора, героя, автора и зрителя (в том числе и их соотношения с божественным началом)» [5, т. 1, с. 374]. Здесь же в примечании указывается на ассоциативную связь романной концепции Бахтина с «Рождением трагедии из духа музыки» Ницше, которая содержится в записи из подготовительных материалов «К вопросам теории романа»: «Рождение романа из духа смеха» (см.: [5, т. 3, с. 564]).

[5] Этот вопрос подробно рассматривается в статье «Лингвистический аспект трех версий имяславия» [10], а также в работе «Между именем и предикатом (символизм Вяч. Иванова на фоне имяславия)». Дальше по тексту излагается предикативная концепция символа и мифа из последней работы; см. вступ. статью.

[6] Поздняя вставка, которая, по-видимому, должна была логически связать «монологизм» структурализма с высшей точкой развития европейского рационализма — феноменологией, где целостность всегда эгоцентрична.

[7] В личной библиотеке Гоготишвили имелось несколько изданий Гуссерля, в том числе «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» и «Картезианские размышления». Все содержат обильные подчеркивания, пометы, а иногда и маргиналии владельца.

[8] Имеется в виду внутреннее противоречие классического структурализма, который в лице Ю.М. Лотмана вернулся к категории «образ автора» в работе «Структура художественного текста» (1970).

[9] Принцип нейтрализации вводится и подробно эксплицируется Э. Гуссерлем в его фундаментальной работе «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга I» (1913), а именно в главе 4 Раздела III («Ноэма и ноэзис»), § 109–111. Под нейтрализацией понимается специфическое «выключение» веры сознания в реальность или нереальность объекта, переводящее любой ментальный акт в модус «чистого мыслимого допущения» без вынесения экзистенциального суждения. Понятие «предикативный синтез» детально исследуется в позднем труде Э. Гуссерля «Опыт и суждение»

(1939), главным образом в разделе II («Предикативное мышление и предметы рассудка»). Гуссерль описывает его как категориальный, активный акт Эго, собирающий разрозненные интенциональные данные до-предикативного опыта в синтаксическое единство логического суждения. В контексте статьи оба термина принципиальны. Первый важен как предельная точка развития монологизма, где сознание способно бесконечно играть смыслами и нейтрализовать любые внутренние противоречия текста, не нуждаясь в обращении к реальному «Другому». Второй доказывает, что в феноменологии «синтез» и «предикация» остаются замкнутыми внутри индивидуального разума, в то время как Бахтин переносит предикативный акт в межсубъектное пространство, делая предикат зоной диалогического столкновения двух суверенных голосов.

[10] Имеется в виду статья «Рецепция символизма в гуманитарных науках (лингвофилософский аспект)» [13]. Ее первоначальный вариант сохранился в файле «Черновое. Рецепция символизма» (23.04.2000), т. е. он написан раньше на два месяца, чем комментируемый текст. См. главку «Символизм и прагматика», где постулируется, что новаторство философия языка русского символизма (Вяч. Иванова, А. Белого и философов-имяславцев — П.А. Флоренского, С.Н. Булгакова, А.Ф. Лосева) в области лингвистической прагматики и коммуникативности — «неувиденная очевидность»: «Мы не сразу узнаем в мифе символизма прагматическую идею, в том числе и потому, что прагматическая идея значительно позже завладела лингвистическим умом, нежели символизм разработал мифологическую составляющую феноменологического сознания. В современном лингвистическом понимании любой реальный языковой акт прагматичен (коммуникативен, иллокутивен и т. д.), на символическом же языке это и значит, что он — мифологичен. Символизм распространял прагматику и на традиционно исследуемые, в том числе и в лингвистике, бинарные архетипические оппозиции (верх / низ, свое / чужое, внутри / вовне и т. д.), добавляя к их преимущественно статично-классификационному и семантическому (то есть не прагматическому) ракурсу рассмотрения еще не полностью апробированный лингвистикой диалогический фермент: символизм связывал эти оппозиции с архетипическими формами коммуникативной организации сознания в его направленности вовне — такими, как хвала / брань, смех / серьезность, мольба / проклятие и др.». Последние из приведенных оппозиций, понятно, подготавливают присоединение Бахтина к символистской традиции, которым и завершается цитируемый параграф: «Символизм вообще есть концепция диалога человека с Богом, а отсюда — и диалога вообще. Нераспознанная коммуникативная концептуальная основа русского символизма может при ее адекватной рецепции гуманитарным мышлением дать стимул к новым лингвофилософским подходам. И уже в определенном смысле дала: в преображенном

собственно гуманитарном виде она была развита в диалогической философии языка Бахтина» [13, с. 164–167].

[11] Философско-религиозный принцип «Ты еси» (утверждение чужого бытия не как объекта, а как полноправного субъекта) подробно обоснован в одноименном эссе Вяч. Иванова (1907) [16, т. 3, с. 262–268] и его фундаментальной статье «Достоевский и роман-трагедия» (1911) [16, т. 4, с. 419–420]. В «Проблемах творчества Достоевского» (1929) Бахтин признает этот принцип основой художественного видения Достоевского, но критикует Иванова за то, что тот оставил этот тезис в сфере идеологического содержания, не перенеся его на саму полифоническую форму романа: «Вячеслав Иванов, найдя глубокое и верное определение для основного принципа Достоевского — утвердить чужое “я” не как объект, а как другой субъект, — монологизовал этот принцип, т. е. включил его в монологически формулированное авторское мировоззрение и воспринял лишь как содержательную тему изображенного с точки зрения монологического авторского сознания мира» [5, т. 2, с. 17].

[12] Указана цитата из записей Бахтина «Дополнения и изменения к Рабле», страница указана неточно, см.: [5, т. 5, с. 114].

[13] Из сонета Вяч. Иванова «Любовь» («Кормчие звезды») [16, т. 1, с. 610], который обыгрывается также в «Венке сонетов» («Cor Ardens») [16, т. 2, с. 410–419].

[14] В статье «Между именем и предикатом» полемическое принятие Бахтиным концепции Иванова выглядит так: «Иванов, с одной стороны, одним из первых, как известно, утверждал принцип диалогического отношения к «другому» (сюда относятся все его многочисленные вариации на тему «Ты еси»), но, с другой стороны, Иванов предполагал наличие единственной адекватной языковой формы даже в символических фигурах речи, говоря, в частности, что гениальное стихотворение и даже гениальное умозрение заложены в языке (4, 677). Иными словами, Иванов, выстроивший все здание своего разветвленного миросозерцания на принципе “Ты еси”, не счел тем не менее нужным внести этот принцип в язык и не принимал в расчет языковые модификации, неизбежно привносимые в речь ее коммуникативными аспектами» [11, с. 98–99]. Внутренняя ссылка дается на статью Иванова «Наш язык» (1918) [16, т. 4, с. 673–680].

[15] Аналогия двуголосия с предикативным актом обосновывается в работе Гоготишвили «Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией». См. первичное определение, на основе которого в дальнейшем будут предикативно трактоваться понятия монологизма и полифонии: «В двуголосии Бахтина утверждается одновременное наличие в высказывании не только двух субъектов речи, не только наличие как минимум двух исходящих от разных голосов предикатов, не только наличие нескольких референтов, но, главное, наличие разноприродных референтов. Эта разноприродность

референтов видна уже в общей схеме ДС. Для обозначения участвующих в ДС голосов будем пока пользоваться терминами “авторский голос” и “чужая речь”. У чужой речи (ЧР) есть свой прямой референт, авторский голос тоже в определенной мере направлен на этот же референт, но одновременно с этим авторский голос имеет в ДС и еще один, “дополнительный” референт — само чужое слово. Чужая речь как непосредственный предмет авторской речи — один из основополагающих и постоянно воспроизводимых тезисов Бахтина. В терминологических же рамках нашей аналогии чужая речь как “предмет” авторской речи и есть ее дополнительный инородный “референт”. Разноприродная двуреферентность — второй существенный момент ДС, связанный с его исходной конститутивной особенностью (двусубъектностью). Наличие двух субъектов речи всегда означает не только наличие двух исходящих от разных голосов предикатов, но и наличие двух принципиально разных референциальных зон, обладающих разной онтологией и разным статусом. <…> В двуголосых конструкциях авторский (второй) голос всегда предицирует дважды; он всегда несет в себе “двужалое” предикативное острие, направленное как на “обычный” референт — тот же, что и референт ЧР <…>, так и на саму ЧР <…>. Если присовокупить к общему счету предикацию, производимую первым голосом, то в общей сложности в одном ДС осуществляются сразу три предикативных акта: один от чужой речи, два — от авторской». При этом «вторичная авторская предикация и выполняет эту функцию монологического “завершения” диалога и объективации чужой позиции в некой поданной как “конечная”» реплике. Вторичная предикация ДС, таким образом, двулика: ее семантическая природа и генезис отношений между ее субъектом и предикатом — диалогические, ее результат — монологический [11, с. 144–146]. ДС — двуголосое слово; «“двужалое” предикативное острие» — показательная аллюзия на 4-ую строку сонета Вяч. Иванова «Любовь» («Одной судьбы двужалая стрела»), которая, по мнению Гоготишвили, могла послужить эпиграфом к концепции двуголосого слова Бахтина (см. прим. 13).

[16] Приведем цитату, о которой идет речь, полностью, так как она имела для Гоготишвили важнейшее значение при разработке предикативной (антиномической) концепции ивановского символа и мифа: «Роман “Бесы” — символическая трагедия, и символизм романа — именно тот “реализм в высшем смысле”, по выражению самого Достоевского, который мы называем реалистическим символизмом. Реалистический символизм возводит воспринимающего художественное произведение a realibus ad realiora — от низшей действительности к реальности реальнейшей. В процессе же творчества, обратном процессу восприятия, обусловливается он нисхождением художника от предварительного интуитивного постижения высшей реальности к ее воплощению в реальности низшей — a realioribus ad realia. Если

это так, необходимо для целостного постижения этого эпоса-трагедии раскрыть затаенную в глубинах его наличность некоего — эпического по форме, трагического по внутреннему антиномизму — ядра, в коем изначала сосредоточена вся символическая энергия целого и весь его "высший реализм", т. е. коренная интуиция сверхчувственных реальностей, предопределившая эпическую ткань действия в чувственном мире. Такому ядру символического изображения жизни приличествует наименование мифа.

Миф определяем мы как синтетическое суждение, где подлежащему-символу придан глагольный предикат. <…> Если символ обогащен глагольным сказуемым, он получил жизнь и движение; символизм превращается в мифотворчество. Истинный реалистический символизм, основанный на интуиции высших реальностей, обретает этот принцип жизни и движения (глагол символа, или символ-глагол) в самой интуиции как постижение динамического начала умопостигаемой сущности, как созерцание ее актуальной формы, или, что то же, как созерцание ее мировой действенности и ее мирового действия» [16, т. 4, с. 437–438].

[17] В бахтиноведении (особенно под влиянием классической работы «Слово в романе», 1934–1935) долгое время доминировал тезис, согласно которому Бахтин противопоставлял «монологическое», авторитарное поэтическое слово «диалогическому», свободному слову прозаическому, явно отдавая предпочтение последнему. См. коммент. по поводу этой полемики в: [5, т. 3, с. 739–740]. Гоготишвили внесла концептуальную ясность в этот запутанный вопрос в статье «Автор и его ролевые инверсии (к сопоставлению подходов В.С. Библера и М.М. Бахтина)» (2009); см. главку «Диалогизм в соотношении с монологизмом и полифонией», которая заканчивается выводом: «Бахтин не снижал статус поэзии относительно вводимой им полифонической формы, а "подтягивал" полифонию к поэзии как классически совершенной архитектонической форме эстетики. <…> То, что на самом деле "снижалось" Бахтиным, так это широко распространенные в то время эстетические и стилистические теории, "не разглядевшие" особую эстетическую природу романа» [9, с. 531].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Исследования

1. *Гравин А.А.* Символистское осмысление мифа: Вяч. И. Иванов, А.Ф. Лосев, Л.А. Гоготишвили // Соловьевские исследования. 2024. Вып. 3(83). С. 99–112. https://doi.org/10.17588/2076-9210.2024.3.099-112

2. *Федотова С.В.* «Загадки лингвистического Сфинкса»: Вяч. Иванов и М. Бахтин в интерпретации Л. Гоготишвили. *Приложение:* Гоготишвили Л.А. Символизм // Вячеслав Иванов: Материалы и исследования / ред.-сост. Е.А. Тахо-Годи, А.Б. Шишкин. М.: ИМЛИ РАН; Водолей, 2024. Вып. 4. С. 410–471. https://doi.org/10.22455/978-5-9208-0782-3-410-471
3. *Федотова С.В.* Лингвофилософские новации русского символизма в интерпретации Л.А. Гоготишвили (Вяч. Иванов и А.Ф. Лосев) // Studia Litterarum. 2019. Т. 4. № 2. С. 252–273. https://doi.org/10.22455/2500-4247-2019-4-2-252-273.
4. *Федотова С.В.* Символизм Вячеслава Иванова в контексте полемики Л. Гоготишвили с Ю. Степановым // Europa orientalis. 2022. № 41. С. 297–313.

Источники

5. *Бахтин М.М.* Собр. соч.: в 7 т. М.: Русские словари, Языки славянских культур, 2003. Т. 1. 958 с.; 2000. Т. 2. 800 с.; 2012. Т. 3. 880 с.; 2008. Т. 4 (1). 1120 с.; 2010. Т. 4 (2). 752 с.; 1997. Т. 5. 732 с.; 2002. Т. 6. 800 с.
6. *Гоготишвили Л.А.* Бахтинская философия языка и проблема ценностного релятивизма // М.М. Бахтин как философ / отв. ред. Л.А. Гоготишвили, П.С. Гуревич. М.: Наука, 1992. С. 142–175.
7. *Гоготишвили Л.А.* Варианты и инварианты М.М. Бахтина // Вопросы философии. 1992. № 1. С. 115–134.
8. *Гоготишвили Л.А.* Двуголосие в соотношении с монологизмом и полифонией // Бахтинский сб. / отв. ред. и сост. В.Л. Махлин. М.: Языки славянской культуры, 2004. Вып. 5. С. 338–410.
9. *Гоготишвили Л.А.* Лестница Иакова: архитектоника лингвофилософского пространства / сост., автор вступ. ст. и примеч. И.Н. Фридман; отв. ред. С.В. Федотова. М.: Издат. Дом ЯСК, 2021. 616 с.
10. *Гоготишвили Л.А.* Лингвистический аспект трех версий имяславия // *Лосев А.Ф.* Имя. Избранные работы, переводы, беседы, исследования, архивные материалы. СПб.: Алетейя, 1997. С. 580–614.
11. *Гоготишвили Л.А.* Непрямое говорение. М.: Языки славянских культур, 2006. 632 с.
12. *Гоготишвили Л.А.* Опыт построения теории употребления языка (на основе общефилологической концепции М.М. Бахтина): дис. … канд. филол. наук. М., 1984. 220 с. Прил. 93 с.
13. *Гоготишвили Л.А.* Рецепция символизма в гуманитарных науках (лингвофилософский аспект) // Литературоведение как литература:

сб. в честь С.Г. Бочарова. М.: Языки славянских культур, Прогресс-традиция, 2004. С. 148–175.
14. *Гоготишвили Л.А.* Хронотопический аспект смысла высказывания // Речевое общение: цели, мотивы, средства. М.: Ин-т языкознания АН СССР, 1985. С. 150–171.
15. *Гоготишвили Л.А.* Является ли предложение единицей системы языка? // Общее и сопоставительное языкознание: Сб. научн. трудов. М.: изд-во Московского ун-та, 1986. С. 9–17.
16. *Иванов В.И.* Собр. соч.: в 4 т. / под ред. Д.В. Иванова и О. Дешарт. Брюссель: Foyer oriental chrétien, 1971. Т. 1. 892 с.; 1974. Т. 2. 870 с.; 1979. Т. 3. 916 с.; 1987. Т. 4. 804 с.
17. Лексикон нонклассики. Художественно-эстетическая культура XX века / под ред. В.В. Бычкова. М.: РОССПЭН, 2003. 607 с.
18. Русская философия. Малый энциклопедический словарь. М.: Наука, 1995. 624 с.
19. *Флоренский П.А.* Столп и утверждение истины. Опыт православной теодицеи в двенадцати письмах / под ред. А. Трубачев. М.: Академический проект, 2017. 905 с.